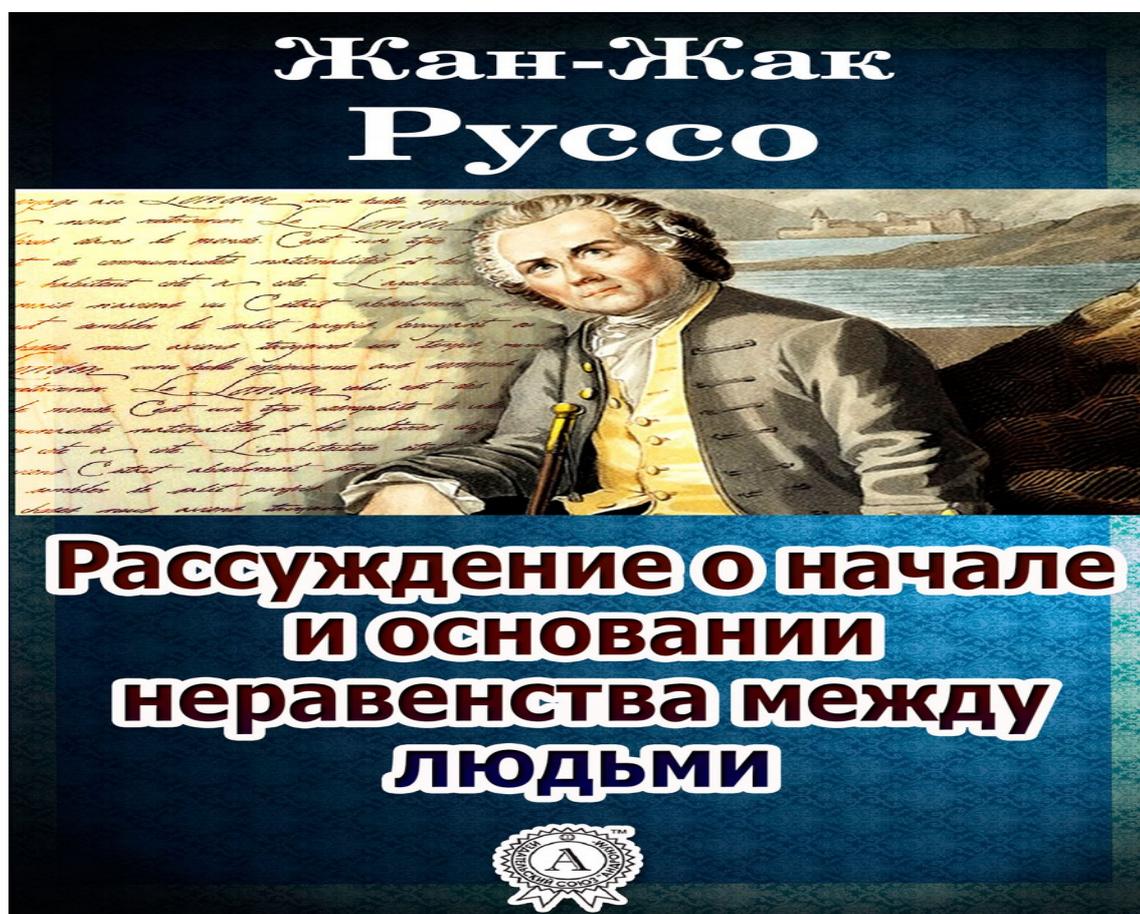


Жан-Жак Руссо
**Рассуждение о начале и основании неравенства между
людьми**



http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=14983787

Аннотация

*«Рассуждение о начале и основании неравенства между людьми, Сочиненное г. Ж. Ж. Руссо» – сочинение выдающегося французского мыслителя и писателя Жан-Жака Руссо (франц. Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778). *** Неравенство, по мнению автора, должно быть уничтожено в государстве, где частные лица располагают общей информацией друг о друге. Мировую известность прозаику принесли произведения «Новая Элоиза, или Письма двух любовников», «Руссовы письма о ботанике», «Семь писем к разным лицам о воспитании», «Философические уединенные прогулки Жан Жака Руссо, или Последняя его исповедь, писанная им самим», «Человек, будь человекен», «Общественный договор», пьеса «Пигмалион» и стихотворение «Fortune, de qui la main couronne». Жан-Жак Руссо прославился как выдающийся деятель эпохи Просвещения и человек широкого кругозора. Его сочинения по философии, ботанике и музыке глубоко ценятся современниками во Франции и во всем мире.*

**РАССУЖДЕНИЕ О НАЧАЛЕ И ОСНОВАНИИ НЕРАВЕНСТВА
МЕЖДУ ЛЮДЬМИ,
Сочиненное Ж. Ж. Руссо
Перевел Павел Потемкин**

Сиятельнейший Граф, Милостивый Государь!

Я имею честь приписать Вашему Сиятельству перевод Рассуждение о Неравенстве Между Людьми. Признаюсь и что такое приношение мало в рассуждении Вас; но ведаю я то, что свойство великих душ, есть рассматривать чистосердечие, а не важность приношения, и что всякая жертва для них приятна: а как я не имею средства лучшего принести мою благодарность за благоволение Вашего Сиятельства о первом моем переводе, то чтобы чувствования оной не остались без засвидетельствования, предпринял я в знак того признания, которым я вам обязан посвятить книгу сию Вашему Сиятельству.

Сочинителя сего рассуждения славится тем, что родился он в такой стране, в которой может свободно объявлять мнения свои: когда бы он мог предусмотреть сие цветущее состояние России, в котором мы ныне под благословенною держаною Премудрой нашей **Монархини** находимся, то без сомнения оставил бы он свои похвалы.

Бывали такие времена в России, в которые гордость была предметом людей занимающих высокие степени, в которые управляющие, стараясь удержать в наивысшем порабощении прочих, не допускали не только говорить, о каких-либо обстоятельствах, но и запрещалось упоминать об истинных мнениях. Сии времена с мрачностью тех грубых веков протекли, а цветущее состояние, ныне вознесенное на толь высокую степень России, доказывает, что не принуждение, но добродетель умножает усердие к монархам истинную преданность к общей пользе, и венчает всякое благосостояние народное.

Благополучны мы по истине, что рождены в такой век, в которой просвещение блистает в совершенной своей славе, в которой добродетель беспримесная процветает, распространяется и торжествует, в которой благоволением нашей **МОНАРХИНИ**, век свой бессмертною славою увенчающийся, каждый сын благополучной нашей страны пользуется, и щедротами ее наслаждается.

Сие изливающееся блаженство на часть толь знатную человеческого рода, служит к славе Вашего Сиятельства. Вы, исполняя знаменитые труды свои в доверенных Вам делах, споспешествуете намерениям премудрой нашей Государыни. Слава, с какою Вы все то исполняете и добродетельные Вашей души свойства, обязывают всех чувствовать, колико мы Вами одолжены: ибо должность есть каждого сына отечества иметь признание к пекущимся толь знаменито о пользе общества.

За благо примите, Милостивой Государь, сие мое приношение, как знак того признания, которое меня принуждает прославлять Ваши добродетели, и наполняет сердце мое тою искренностью и глубочайшим почтением, с каким я имею честь быть,

Сиятельнейший граф, Милостивый государь

Вашего сиятельства покорный слуга Павел Потемкин .

ПРЕДИСЛОВИЕ

Самое полезное и меньше всех известное из человеческих знаний, кажется мне, есть о человеке¹ и я осмелюсь сказать, что единая надпись храма Делфийского содержала в себе

¹ С самого начала моего утверждаю я с доверенностью на одном из сих изречений, почтенных для философов, потому что оные происходят от разума высокого и твердого, который одни только они могут находить и чувствовать. // Какую мы ни имеем надобность, чтоб узнать себя самих; однако ж я не знаю не все ли иное мы лучше знаем, нежели себя. Будучи снабжены от природы органами, определенными единственно на сохранение наше, употребляем мы их только на то, чтоб принимать впечатления совсем от нас чуждые; ищем только распространиться во внешности, и существовать вне себя, излишне упражняясь, как бы умножить действия чувств наших, и прибавить наружную обширность бытия своего. Редко употребляем мы то внутреннее

наставление гораздо нужнейшее и гораздо труднейшее всех великих нравоучительных книг. И так, я почитаю содержание сего рассуждения, за один из самых нужных вопросов, какие философия может предлагать, и по несчастью для нас, за один из самых труднейших, которые Философ решить может: ибо, как можно познать источник неравенства между людьми, если не начнешь познанием их самих? И как человек дойдет совершенно до того, чтоб мог видеть себя таким, как природа его устроила, сквозь все перемены, которые многое продолжение времен и вещей должныствовали произвести в его начальном состоянии, и различить то, что имеет от собственного своего основания, с тем, что обстоятельства и приращения его приобщили от себя к первобытному его состоянию, или в нем переменяли? Подобно статуе Глаукуса, которую время, море и бури столько обезобразили, что уже она больше представляла лютого зверя, нежели Бога. Душа человеческая, изменившаяся посреди общества чрез тысячу разных причин, непрестанно возрождающихся, чрез приобретение знаний и заблуждений, чрез перемены произошедшие в сложении тел, и чрез непрестанное сражение страстей, преобразила, так сказать, вид свой, даже до того, что почти стала непознаваема; и вместо существа Действующего всегда по известным и неизменным основаниям, вместо себя небесные и величественные простоты, которую Творец в нее впечатлил, находится в ней только безобразное противоположение страсти, которая о себе мнит, будто она рассуждает, и разума, который безумствует.

Всего мучительнее есть то, что как все приращения рода человеческого, отдаляют его непрестанно от его первобытного состояния: по чем более мы накапливаем новых знаний, тем паче отъемлем средства к приобретению одного самонужнейшего изо всех, и в некотором смысле, чрез излишнее учение о человеке, привели мы себя в не состояние познать его.

Легко видеть можно, что в сих то со временем происходящих переменах человеческого составления, надлежало искать первого начала разностей, которые различают людей, и которые по общему признанию суть естественно столько равны между собою, как были скоты всякого рода, прежде нежели разные физические причины ввели в некоторые из них те различности, кои мы и примечаем. В самом деле, непонятно то, чтобы первые перемены, чрез какое средство они ни произошли, могли изменить вдруг и одинаковым образом всякого порознь во всем роде; но между тем, как одни приходили в совершенство или испортились, и получили разные качества добрые или худые, которые не заключились в их природе, другие остались доле в начальном своем состоянии: и таковой-то был между людьми первый источник неравенства, которое легче можно доказать таким образом вообще, нежели означить с точностью подлинные тому причины.

И так, да не воображают мои читатели того, чтоб я дерзнул себя льстить, якобы я то видел, что мне кажется столь трудно видеть. Я начал некоторые рассуждения, отважился представить некоторые притом догадки, не столь в уповании решить вопрос, как в намерении изъяснить оный, и довести его к настоящему его состоянию. Другие могут свободнее пройти далее по тому же пути, хотя не без труда всякому достигь до самого предела можно. Ибо, нелегко сие предприятие, чтоб разобрать, что есть первобытное, и что искусством введенное в нынешней природе человеческой, и узнать точно состояние, которое уже не существует, которое может быть никогда не существовало, и уповательно не будет и во веки существовать, однако ж, о котором нужно иметь истинное понятие, дабы мы могли чрез то прямо судить о состоянии, в коем находимся ныне. Надлежало бы притом иметь гораздо более философии, нежели мнят, тому, кто предпримет точно определить те предосторожности, которые принять должно; дабы о сем учинить основательные примечания

чувство, которое нас приводит к подлинным нашим размерениям, и отдаляет все от нас, что до нас не принадлежит. Совсем тем, сие то чувство должно нам употреблять, если мы хотим знать себя, оно есть единое то, по которому мы судить себя можем. Но как можно сему чувству дать его точную действительность и прямое пространство? Как нам душу нашу, в которой оно обитает, извлечь из всех прельщений нашего ума? Мы уже потеряли навык как ее употреблять, она осталась без упражнения посреди наших телесных чувствований; она иссохла от огня страстей наших, сердце, ум, чувство, все купно ей противоборствовало. Истор. Нат. том 4. стран. 151. о при человеческой.

и достаточное решение следующей проблемы, кажется мне не недостойно Аристотелей и Плиния нашего века: Какие опыты нужны к достижению того, что познать, человека и его природе, и какие суть средства для исполнения сих опытов и недрах общества? Отнюдь не предпринимая решить сию проблему, кажется мне, однако, что я столько доволен о сем деле размышлял, дабы мог уже осмелиться наперед ответственность за то, что управление сих опытов достойно самых величайших философов, а произведение их в действие не ниже достоинства Государей, какового стечения ожидать почти несходно с разумом, особенно при продолжении, или лучше сказать, при воследовании, просвещения и благоволения, потребного с обеих сторон к достижению желанного успеха.

Сии изыскания толь трудные в исполнении, и о которых донныне так мало помышляли, суть однако единые средства, оставшиеся нам для отвращения множества тех затруднений, кои скрывают от нас подлинное сведение об основаниях человеческого общества. Сие то невежество природы человеческой производит столько неизвестности и темноты в рассуждении истинного определения права естественного: ибо понятие о праве, говорит Г. Бюрламаки, и еще более о праве естественном, явным образом суть понятия, относящиеся к человеческой природе: и так, из сей то самой природы человека, продолжает он, из его составления и состояния должно выводить начальные правила сей науки.

Не без удивления, и не без соблазна, примечается несогласие, находящееся в рассуждении сего важного предмета, в разных писателях о том рассуждающих. Между самыми важнейшими из них, едва можно найти двух, которые бы одинакового были мнения, не говоря о древних философах, которые, кажется, нарочно старались противоречить друг другу о началах самых основательных: Римские Юрисконсульты без всякого различия подчиняют человека, и всех прочих животных тому ж естественному закону, для того, что они рассуждают под сим именем закона, более о том, что природа налагает сама себе, нежели о том, что она предписывает, или лучше сказать, по причине особого означения, по которому сии Юрисконсульты разумеют слово закон, которое кажется, что приняли они в сем случае только за выражение всеобщих отношений, установленных природою между всеми существами одушевленными для собственного их сохранения. Нынешние писатели, не признавая под сим именем закона; как только единое правило, предписанное существу нравственному, то есть, разумному, свободному и рассуждающему в его отношениях к другим существам: следственно, ограничивают все в едином смысле одаренном обуздании, то есть, в человеке, принадлежность закона естественного. Но описывая сей закон, каждый по своему мнению устраивает оный на основаниях толь метафизических, что между нами находится весьма мало и таких людей, которые бы в состоянии были разуметь сии основания, а не только, чтоб могли найти оные от себя самих, так что определения или описание ученых людей, будучи впрочем, в непрестанном между собою противоречии, соглашаются только в том, что невозможно разуметь закона естественного, и, следовательно, ему повиноваться, не будучи великим рассказчиком и глубоким метафизиком. А сие точно значит, что люди должныствовали для восстановления общества, употребить такие просвещения, которые с великим трудом открываются, да и то весьма малому числу людей, в недрах самого общества.

Столь мало ведая природу, и соглашаясь толь худо о смысле слова закон, весьма трудно будет условиться о надежном определении закона естественного. И так, все таковые определения, находящиеся в книгах, кроме того недостатка, что они не единообразны, имеют еще тот, что они произведены из многих знаний, которых человеки естественно не имеют, и выгод, которых понятия не могут они прежде постигнуть, как уже выступив из природного состояния. Начинают изысканием правил, о которых для общей пользы, нужно бы людям между собою условиться, и после дают имя закона естественного собранию сих правил, без всякого другого повода кроме того блага, которое находят, что могло б произойти из всеобщего исполнения оных правил. Вот поистине весьма хороший способ сочинять определения и изъяснять естество вещей по приличествам почти самовольным.

Но доколе мы не будем знать человека естественного, то тщетно останется желание

наше, чтоб определить закон, им принятой, или который наилучше приличествует к его составлению. Все то, что мы можем видеть весьма ясно в рассуждении сего закона, есть, что надлежит, дабы он был законом, не только, чтоб воля того, которого оный обязывает, покорялась ему с знанием, но еще, дабы он был естественным, то должно, чтоб он проповедовался непосредственно гласом природы.

И так, оставив все книги учебные, которые нас научают видеть человеков не иначе, как таковыми, какими они себя сделали, и рассуждая о первых и самых простых действиях человеческой души, кажется мне я примечал в оной два начальные правила, предыдущие разуму, из которых одно нас привлекает ревностно к нашему благосостоянию, и сохранению себя самих, а другое внушает нам отвращение естественное видеть поработавшим или страждущим всякое существо чувствительное а особливо нам подобных. Из стечения и соображения, которое наш разум в состоянии сделать из сих двух состояний, не имея никакой надобности допускать тут основания, производимого из склонности к обществу, кажется мне проистекают все правила естественного права, кои потом разум бывает принужден восстанавливать на других основаниях, когда он по откровениям повременным дошел до того, что затушил природу.

Таким образом, нет нужды делать из человека философа, не сделав его наперед человеком. Должности его в рассуждении ближнего, не одними только поздними уроками премудрости, ему исполнять повелевается; как долго он не воспротивится внутреннему вдохновению сожаления, то не сотворит он никогда зла другому человеку, и никакому существу чувствительному, кроме случая законного, где сохранение его собственное востребует, и где он долженствует дать себе самому пред всем преимущество. Сим средством кончатся также древние споры об участии других животных в законе естественном, ибо то ясно з что они будучи лишены просвещения и вольности, не могут признавать сего закона: но как они некоторым образом касаются нашей природы по чувствительности, коею они одарены, то можно рассуждать, что они должны также участие иметь в праве естественном и что человек в рассуждении их подлежит некоему роду должностей. Кажется, в самом деле, что если я должен не творить никакого зла подобному мне, то сие делается не столько для того, что он есть существо разумное, как для того, что существо чувствительное. Но как сие качество есть общее скоту и человеку: то должно первому из сих по крайней мере дать то право, чтоб не быть озлобляемым от другого.

Сие самое учение о человеке первобытном о его подлинных надобностях, и о начальных основаниях его должностей есть также единое только хорошее средство, которое употребить возможно для отвращения сей бездны трудностей, представляющихся о начале неравенства нравственного, о подлинных основаниях общества Политического, о взаимных его членов и о тысячи других тому подобных вопросов столько же нужных, сколь худо поныне изъясненных.

Рассматривая общество человеческое спокойным и беспристрастным оком, кажется оно ничего не показывает сперва, кроме насильства людей могущих и утеснения слабых. Разум тревожится противу суровости первых, и склонность влечет к сожалению об ослеплении других: и как ничего нет столько твёрдого между людьми, как сии обстоятельства внешние, которые чаще производит случай, нежели благоразумие, и которые называются слабостью или силою, богатством или убожеством, то установления человеческие кажутся при первом взоре основанными на куче песку зыблущегося, и только лишь рассмотри их гораздо ближе и по развеянии пыли и песка, окружающего здание, приметить можно самый непоколебимый низ, на котором оно поставлено, и тут начинают уже видеть основания оною. Но без нарочного тщания о познании человека, его природных способностей, их повременных откровений, никогда не можно до того достигнуть, чтоб сделать сие различие, и в нынешнем действительном составлении вещей, отделить то, что учинила воля божественная от того, что искусство человеческое сделать мнимо; и тако изыскания политические и нравственные, к которым подает случай сей нужный вопрос, мною теперь рассматриваемый, суть всяким образом полезны, и положительная История правлений для человека есть

учительное наставление ко всякому случаю. Рассматривая каковы бы мы могли быть, быв оставленными самим себе, должны мы научиться благословить того, которого благодеющая рука исправляя наши установления и даруя им положение непоколебимое, предупредила беспорядки, долженствующие из оных произойти, и благоволила произвести благополучие наше из средств, кои, казалось, долженствовали сделать бы совершенную нашу бедность.

ОТ ПЕРЕВОДИВШЕГО

Сообщая свешу перевод рассуждения Г. Руссо о неравенстве между людьми, которого важность по содержанию своему требовала давно уже быть ему на Российском языке, исполняю я обещание, данное мною при первом моем переводе.

Между тем находя за удобное здесь изъяснить со своей стороны некоторые мнения, осмелился я их предложить на рассуждение не целого общества, которого предрассудки бывают иногда в предосуждение справедливости; но людей просвещенных и правосудящих.

Я не буду простираться в том, чтоб описывать подробно, как сотворен сей свет, и человек извлек себя из ничтожества, в каком его полагают, какими способами приобрел он все те пауки и художества, в которых ныне свет процветает, или чрез которые человек вознес себя, так сказать, сверх возможного воображения; для того, что сие было бы только или следовать или противоречить мнениям Г. Руссо. Но как я человека в сущем ничтожестве никогда не полагаю и человеческий род по видимым способностям своим доказывает нам, как много оный предпочтен пред прочими тварями, то нелегко всякому подтверждать оное с явными доказательствами. Сия система, вообще сказать, весьма трудна и доказать оную гораздо неудобно. Самое толь прославленное рассуждение сего сочинителя не каждого утвердит на его мнении основаться или оному верить. Люди всегда были горды и самолюбивы, ныне ж, по распространению знаний, стали надменны и суемудренны, следовательно каждый хочет решить дела по собственным видам, и мысленно себе сам дает пред всеми преимущество: и так мое мнение не в том состоит, чтоб испытывая, как сотворен сей свет, говорить в противность или соглашаться с сим рассуждением, но кратко предложить, от чего свет стал толике развратен, и упомянуть всегда ли он таков был от самого начала, или особливые причины его к такому состоянию довели?

Все философы, испытывающие о человеке, начинали говорить нем с самого первобытного его состояния, и выводили оное хотя разными, однако между прочим и много сходными между собою мнениями; но никто из них не показал того, ради чего не допускают они иметь человеку с самого первого начала тех способностей, которые его пред прочими тварями столь много отличают? ибо, когда родился он равно несмышлен, как и все животные, то по какому чудному побуждению мог он, примечая только их действия, и подражая оным, присвоить себе сам преимущество и всякое понятие, а притом, какой бы мог быть предмет природы, сотворив человека иначе, нежели как мы его видим нашими глазами допустить собственному его труду дойти до того совершенства, в каком он ныне находится; и по чему бы надлежало ему быть несмышленным, когда уже он определен иметь и те малые способности, каковы испытатели природы ему предоставляют и в самом том низком состоянии, в каком они его полагают, то есть: скитающегося без пристанища, без всякого намерения и без понятия о существе своем, но только с некоторым внутренним чувством существа, самовольно действующего. Такое то рассуждение долженствовало бы произойти от пера сочинителя книги сей и ему подобных писателей.

Как нужно есть, чтоб хотя один кто из таких великих людей, показал с доводами ясными прямое положение мира, и означил те причины, которые заставляют их полагать человека тик, как и прочих животных несмышленным; ибо, когда воззришь на лепоту пречудно сотворенных стихий, когда воззришь на светила, нас освещающие, на сию бездну звезд, украшающих небеса, когда представишь все обращающиеся в глазах наших перемены земного шара, и вспомнишь, сколько человеческий разум способен постигать все премудрости и тайны, сколько он восхищается даже до высот небесных, и что он единый

есть, который достоин рассматривать и рассуждать о сем чудном и прекраснейшем сотворении, тогда представишь, что все философы полагают человека гораздо в отличном состоянии, нежели как, по-видимому, его Вышний предел сотворил.

Желал бы я изъяснить, коликое по мнению моему имеет преимущество человеку пред всеми прочими тварями с самого его первобытного начала, как по отличности существа его, так и по обстоятельствам, каковые суть все его способности, его выгодное составление и внутренние чувства, которые оказывают его превосходство пред всеми животными, населяющими поверхность земного шара: но то было бы весьма обширно, да и не для сего предпринял я здесь предложить мои мнения. Содержание оных состоять будет в том только, чтоб кратко представить обществу, что как я полагаю человека от самого его начала, озаряема светом разума стольким же преимуществом, каковым и ныне обладают: то для того упомянуть долженствую о следствиях рода человеческого, который преисполнен толь многими развратностями; а потому описать причины, кои произвели столько вражды, столько ненависти и столько злодеяния, которыми вседневно к стыду нашему мы видим человеческий род пожираемый.

Не без труда однако было бы означить подробно причины такого беспорядка: ибо цепь, связывающая нуждами всех взаимно, пре путана несчетным числом разных путей к причинению вреда, так что чем более начнешь в оное входить, тем более подлинный того источник скрывается от нашего разума в недрах непроницаемой мрачности. Между тем надежно можно сказать, что не без заблуждения остаются мыслящие, якобы свет был когда-нибудь лучшим, нежели в каком состоянии мы его ныне зрим. Люди были всегда таковы, как есть, с самых тех пор, как общества произведенные установили некоторый порядок нравственный, и отличность в людях установлена стала, и как всякой век имел свои правила, свои учреждения и свои обстоятельства, то следовательно имел уже он и происходящие из того пороки; с приращением новых изобретений происходили новые заблуждения; а чем более способности человеческого ума приходили к совершенству, тем паче люди склоняли разум свой на вред и сердца их исполнялись от тонкостей страстями; возсталась особливо зависть, и усиливаясь беспрестанно свойство души добродетельно затухала.

Рассматривая первые племена человеческого рода, мнится мне, что люди разве только в самых первых веках долженствовали быть в том чистом и беспримесном состоянии, в каком они вышли из рук природы, и до тех лишь пор как число их было так мало, что не доходило им нужды иметь между собою установленное сообщение. Человек, будучи разве в том лишь едином состоянии, не помышлял о тех страстях, которые в общежитии сердцами обладают: но едва только распространение рода его учинилось столь многочисленно, что потребовало некоторого общественного установления, в тот самый час и основалось все то, что могло произвести пороки, которые потом и всякой век уже больше или меньше чувствовал. Нужды, обязывающие взаимно большую часть общежительствующих, производили новые пути к хитростям, которые один против другого употребить изыскивал средства от них то началось распространение мыслей к дальнейшим предметам; и человек вместо покойной жизни, коею он столь кратковременно пользовался, стал всегда в попечении, беспокойстве, в произыскании способов, дабы отличить себя от прочих, или, по крайней мере, учинить жизнь свою ненужною, и таким образом страсти вкрались нечувствительно в сердца человеческие, и прорастили корень свой столь твердо, что уже, наконец, ввели в правило то, чтоб славиться соделанием вреда себе подобному. Свойство бесспорное души преобразилось в свойство злое, и тот самый разум, которой уступая чувственности во всяком случае, соединялся с жалостью и влек на помощь ближнему, стал обращать единственно на вымышление коварства и вреда, и счастье одного не могло уже без того совершиться, чтоб не сделать другому несчастья.

Легко видеть можно, что общества установленные в таком состоянии быв, почувствовали общий вред и гибель каждого особенно, и почли за необходимо нужное учинить некоторый договор, то есть, положишь условные законы. Но время оказало, что сия предосторожность не весьма помогла. Страсти уже обладали сердцами сильнее, нежели

сколько законы в состоянии были их удержать. А человек, сделавшись завистлив и любостыжателен, скоро стал зол и неукротим. Сия нужда заставила избрать обществу единого начальника, которому власть всенародно препоручена стала: сильные желая чрез сие иметь способы ко отличению себя в предпочтении, склонились отдать жребии свои в руки властителя, а притесняемые, желая воспользоваться правом для защищения себя, предались охотно во власть избранного ими начальника². Сим образом коварство и притеснение купно поставили престол, которые день от дня утверждались преданностью и глубоким повиновением всякого неисключительно, и степень неравенства общежительного основана стала. Казалось тогда, что всякой вред пресечен, что злоба не только затушена, но и совсем истребилась, и восстановилось благоденствие: но род смертных сужден к другой доле, ибо и мысль человеческая повреждена уже будучи, клонилась всегда возвеличить себя сверх состояния своего, и сия то неистовая склонность произвела все то зло, которому человек стал подвержен.

Когда стали основаны законы властью единого, то установились также степени служителей, и преимущества в предпочтении, которые человека влекли изыскивать средства к достижению оных; тут возымели свою силу человеческие хитрости, обманы, и все те тонкости, которые разум человеческий произвести был в состоянии. За ними необходимо следовали открытия всех знаний, коих способности его были достойны, и которых достигнув, человек сделался горд и высокомерен. Отличность в предпочтении единожды почувствуемая, побуждала его почитать себя не только выше подобных ему, но и почитать сверх естественного сотворения. И так он обратил те способности свои на вымышление зла, которое долженствовало бы оное отвращать, и никакое уже рассуждение не в состоянии было удерживать стремление, каковое зависть, или гордость в нем производила. Перемены обстоятельств зарождали в нем некоторую-нибудь из сих двух страстей, и переменили расположение мыслей его. Малейшее неудовольствие в его состоянии уменьшив гордость, делало его робким, низким и совсем трусливым, Таким образом каждой человек располагался по предрассудкам, отдалялся от истинного мнения и справедливости; а беспорочность души сколько уже ни защищала его от нападения страстей, но самолюбие, вкоренившись в его сердце, побеждало всякое истинное рассуждение, и принуждало уничтожать добродетель за самую малую цену прибытка, или за малейшую степень почести. Одним словом, разум уступал место, и дал власть над собою страстям, для того, чтоб мог располагать всегда всем по своим затеям, не поставляя намерениям истинного предела.

Сие есть источником, что первые властители скорее вымыслили положить тяжкое наказание за преступление, или за какой-либо вред, дабы строгостью пресекая зло, укрепить и повиновение, а в то же время и лишить подвластных своих той вольности, с какою прежде могли они защищать свои дела; но не положили никакого поощрения в законах за добродетели, оставив сие преимущество в награждении собственной своей воле для того, чтоб привлечь тем наивысшую к себе преданность и купно с оною глубочайшее почтение, понеже народ стал точно уже зависим от его изволения, и степени от его избрания.

Я мню, что если бы при узаконении всех оных тяжких казней, которые положены за причинения какого-либо вреда, законодатели беспристрастно хотели помыслить, что всякое добро столько же свойственно человеку и еще паче, нежели зло. Но как оное без одобрения прекращается, а человек от строгости законов впадает в уныние, и тем больше дерзают на преступления то, чтобы предупредить сугубое зло, установили воздаяния как за добродетели, так наказание за преступления: такой способ предохранил бы род человеческой от толь несметных бедствий, которые оный претерпел, и тех напрасных истязаний и смертей,

² Ежели бы я намерен был распространить содержание моих мнений, то бы я вместил здесь, что не возможно почитать за истину то, чтобы народы с самого начала установили какое-нибудь другое правление, кроме начальственного, по крайней мере, те, которых суть избрали себе сперва посредниками в своих делах, присвоили сами себе сию власть совершенно. Прочие же правления сделались, наконец, чрез возмущения какие-нибудь, по обстоятельствам случившиеся.

которыми он пожираем чрез непосредственные строгости³: но предрассуждения, почувствованные единожды во установителях законов в пользу собственно их, основали с такой стороны предохранение от непорядков, и как будто сим удерживая от зла чрез то оное распространили, великое есть средство поощрять людей к добродетели примером самой добродетели, тогда-то она возымает подлинно свою цену и утвердится так, что пороки могут быть отринуты. Нам нравоучение только слышать приятно, однако не производишь в нас удивления: исчислив некоторые добрые дела, надлежало бы хотя малое положить к тому поощрение; а по мере большого попечения открывались бы лучшие средства. Всякое добро свойственно сердцу человеческому; но склонность, нас влекущая на благо, истребляется от предубеждений. Они-то тщатся затмить божественный свет, озаряющий души наши. Они то вливают яд всякого вреда в сердца наши, и от них-то происходят все те льстивые учтивства, все те ложные доброжелательства, которые мы оказываем друг другу взаимно тогда, как в самом деле о том только печемся, чтоб найти пользу свою во всем злом ближнего своего, при чем разве одно только некоторое оставшееся в нас чувство совести нас трогает и производит иногда то признание, которое мы внутренне имеем в своих вредных делах: ибо сие врожденное в человеке чувство как пи затмевается от предрассудков, но вовсе истреблено быть никогда не может; и для того то мы и утопая во всех пороках, добродетель любим и прославляем.

Можно ли приписать вред сей и все страсти особливо нашему веку? Нет без сомнения, предрассудки основались при самом еще начале общежития, а распространение обществ умножило оные для того, что человек стал, так сказать, раб всякой страсти. Все века чувствовали недостаток крепости к побуждению оных, все превозносили добродетель; но говорили о ней, как о какой химере, не печась ни мало искать средств, дабы достигать оные. Сколько было учителей, которые гласили о добродетели! Сколько писателей, которые славу ее изображая, тем только и хотели свет удивить! Но много ли было таких, которые бы пример собственными делами показали, чтоб могли прочие им последовать; о том всякой знает, кто читал истории древних веков. Нам времена древние кажутся благополучнейшими настоящих не для чего иного, как что неудобства тех времен нам нечувствительны, а изрядные дела воображением в нас поражают чувства, и тем производят удивление.

И так не можно того сказать, чтоб свет когда-нибудь был лучшим, нежели как ныне находится; ибо способ жизни человеческой, всегда его разнообразен и обстоятельства всегда были участны в пороках, которыми чрез распространение обществ человечество более стало опутано, однако всегда то было чувствуемо, что страсти имели более владычества над сердцами, нежели рассуждение; а добродетель блистала только сквозь оные, как солнечные

3 До не вообразят мои читатели, чтобы я хотел порицать установление законов: весьма далеко от того мое мнение, я знаю, что общество без законов не могут быть, равно, как тело без жизненного духа, или рассеянное стадо без пастыря, что строгость законов есть то единое средство, которые соображает все виды, отвращает от заблуждений и удерживает распространение зла. Однако не одна только строгость может освящать оные, но непременно и сохранения положенных законов, ибо отнюдь нельзя того помыслить, что где дерзающий на какое-либо преступление, воображая точно, должны себе наказание, осмеливался приступить к соделанию вредных своих предприятий, еще менее можно подумать, чтобы слой преступник, не надеясь избежать казни и всех тяжких мук, отваживался на беззаконие. Все сие происходит от несоблюдения законов по каким-либо пристрастием, или упущения положенных прав по некоторым видам, и сей то есть первый тот источник, который привлекает человека на несчастье, это главная причина, которая убеждает вредная сердца отважиться на всякий вред и на всякое преступление, понеже польза, которой он надеется от исполнения того, ласкает его тем, что изыщет он средство избежать должного взыскания, а всегдашний пример, в лицепрятии или иногда в корыстолюбии, легко обнадеживает во исполнение вреда, итак избавляя единого, прельщают тысячи, а губит, так сказать, целое общество. Коль часто видели то в древние времена, что строгость падала по лицепрятно за невинность, и обсуждала право на смерть, которой злодей был свидетелем, и торжествовал, увидев невинного соперника на жертву влекомого. Где нет лицепрятно и скорости в суде, там нет нужды в крайней строгости, где нет надежды избежать положенного права, там все страшит и ужасает, когда сильный, знатный, богатый, равно подвержен непременно исполнению прав, там удерживается без сомнения поползновение: но главный вред к предосуждению разума человеческого есть то, что часто строгость падает на бедного, между тем, как сильный или богатый, без наималейшего опасения распространяет вред дел своих и успевает в них.

лучи проникают сквозь завесу, для того, что свойство природы человеческой само по себе есть добродетельно.

Я умолчу о нравоучении, потому что сколько оно ни полезно, и сколько ни нужно к удержанию людей от зла, однако же, оно слабо вкореняется в наши рассуждения, дабы мы чрез наставление только одного побеждали все пристрастия. Самое лучшее средство удерживать пороки, зависеть от власти Государя, а пример его собственных дел добродетельных есть совершенный путь к добродетели; понеже та сила, которую он имеет над народом своим, есть душа, управляющая и мысли и сердца одного к добру или злости. Не по единому принуждению, но самым исполнением действий благих, и как каждый человек вникает в то, что угодно воле Монарха, то без сомнения все подражать ему стараются, и ежели предмет всякого действия обращается на добро, то совершение оных вообще будет полезно, хотя от воли или только от подражания оно исполнено было.

Здесь должно мне упомянуть об основании нынешних времен Российского государства, дабы представить пример того, сколько от изволения Государя зависит много исправлять сердца, давая образ народу своему собственными делами: ибо как бы законы от зла не отвращали, но хитрость коварных душ находит средства делать зло и избегать от истязания оных, и тем лишь паче преступление усиливается. А когда примеру е добродетели следуют Монарха, тогда все единодушно о том только и пекутся. Мы ясно видим ныне чрез премудрое правление нашей Великой МОНАРХИИ, славу нашего века сооружающей, колико может процветать добродетель, когда она имеет отверстый путь, и еще паче, когда предводительствующая народом Особа, сама собою в том пример показывает.

Народы! воззрите на процветающую толикой славою Россию; спросите благополучных чад ее, видят ли они предел своего благосостояния? Спросите у сего подданного народа, чувствует ли он хотя мало иго рабства? Спросите, милостью она, или строгостью низвергает пороки, и вводит благочестие и добродетель? А чрез то познайте, что гордость и пристрастия самих властей были иногда причиною и основанием повреждения. Ибо зависть производила мысль вредную, и возбуждала всякое желание к исполнению зла, и как ничто не противоборствовало отвратительным намерениям, кроме опасности законов, которых избегать были средства, то сие принуждало находить способы как таить яд зла, но не истребляли одного из сердец, а между тем род человеческий, делая нечестие, погибал в бедствиях, и производил только сострадание в душах чистых и здравых рассуждениях.

Наша Премудрая МОНАРХИЯ, являющая в лице Своем собор всех оных божественных даров, которые должны озарять душ у Царя, народами управляющую, узрев источник всех вредностей, тщится исправить сердца народа своего не столько строгостью, как непременно исполнением законов, а возбуждает добродетель щедростью, милостью и благодеяниями.

Я не преступил противу истинны, представив сей пример к моему содержанию. Я старался кратко описать, что свет всегда был порочен и с самых тех пор, как общежития основались, что с распространением рода произрастали пороки, а чрез законы излишне строгие еще оные усиливались. Сие свидетельствует ныне каждому, сколько кротость Монаршеская и доброта его нрава освящает пороки, и сколько добродетель оными восстанавливается. Да совершит вышняя Десница благословенное начало нашей Государыни, да обратит народные сердца следовать сим путем к благодетельству, и обяжет всех взаимно искренним чистосердечием, дабы увидел свет, что благой пример Монаршеских дел есть источник добра, душа добродетели и просвещение мыслей и сердец.

Оставляя все прочие подробности, которых описание и кроме того, что распространилось бы весьма обширно, не принадлежит к моему содержанию, но притом и требовало бы много времени. Оканчиваю я сим мое изъяснение, дабы как можно, не примешать мне посторонних причин, которые нравы и сердца повреждают, остается читателю справедливому судить, истинно ли я описывал мое мнение, или заблуждался. Впрочем, ежели труд мой достоин будет благоволения той особы, которой я оный посвятил и одобрения знающих людей: то сие поострит меня к дальнейшему прилежанию.

ВОПРОС, предложенный от Академии Дижонской.

Какое есть начало неравенства между людьми, и основано ли оно законом естественным?

РАССУЖДЕНИЕ о начале и основании неравенства между людьми.

Я намерен говорить о человеке, и вопрос, который я исследую, вразумляет меня, что буду я говорить людям: ибо не предлагают таковых вопросов, когда боятся чтить правду. Таким образом буду защищать я с благонадежностью человечество прел теми мудрыми людьми, которые меня к сему приглашают; и не буду не доволен сам собою, если учиню себя достойным предпринятого моего труда и моих судей.

Я понимаю в роде человеческого два вида неравенства: одно, которое я называю естественным или физическим, для того что оно уставлено природою, и состоит в различии лет, здоровья, сил телесных, и качеств разума, или души. Другое, которое можно назвать неравенство нравственное, или политическое, для того, что оно зависит от некоторого договора, что оно учреждено или, по крайней мере, уважено по согласию людей. Сие состоит в разных преимуществах, коими некоторые пользуются к предосуждению других, как то быть богатеи, почтеннее, могущественнее прочих, или принудишь их себе и повиноваться.

Не можно вопрошать, какой есть источник неравенства естественного, для того что ответ будет содержаться в самом определении сего слова: еще менее и того, можно изыскивать, нет ли какого союза существенного между двух неравенств, ибо сие было бы вопрошать другими словами, что те, которые повелевают, по необходимости ли достойнее тех, которые повинуются и всегда ли сила ума и тела, премудрости и добродетели, находится во всяком порознь человеке, по мере могущества или богатства; о сем вопросе пристойно, может быть, рассуждать невольникам в присутствии своих властителей, но оной не приличествует людям разумным и свободным, которые ищут истинны.

О чем же точно следует сие рассуждение? О том, чтоб означить в приращении дел то время, в которое права заступили место насильства, и природа покорена стала закону, истолковать, по какому чудному сцеплению сильный мог намериться служить бессильному, и народ согласился купить мысленный покой, ценою счастья вещественного.

Философы, испытывающие начало общества, все чувствовали надобность восходить даже до состояния естественного; но никто из них еще до того не дошел. Одни не колеблясь, приписывали человеку в сем состоянии разумение справедливости и несправедливости, не печась того показать, что он долженствовал иметь сие разумение, ниже того, в чтоб оно было ему полезно, другие говорили о праве естественном, которое всякой имеет к сохранению того, что ему принадлежит, не истолковав, что разумели они чрез слово принадлежать и иные давая вдруг сильным власть над слабыми, тотчас устанавливали правление, не мысля о времени, долженствующем протечь прежде, нежели и смысл сих слов, пласт, или правление мог быть между людьми; наконец, все говоря непрестанно о нужде, жадности, притеснении, желании и высокомерии, приложили к состоянию природы понятия, взятые ими из состояния общества, и говоря о человеке диком, изображали они гражданина, да и не приходило и в мысль большей части из наших писателей сомневаться, что состояние природы когда-нибудь существовало, между тем как мы ясно видим из чтения священных книг, что первый человек, получив непосредственно от Бога разум и заповеди, не был и сам в сем состоянии; и что веря писаниям Моисеевым, сколько оным должен верить всякой Христианский Философ, не надлежит допускать, чтоб люди и прежде потопа когда-нибудь находилась в точном состоянии природы, разве они впадали в оное каким-либо чрезвычайным случаем: странное мнение сие защитить весьма трудно, а доказать и совсем невозможно.

Начнем же теперь отдалением всех действительных происшествий, ибо они не касаются до сего вопроса. Не надлежит принимать изысканий, касающихся до сей материи за исторические истины, но за рассуждения ипотические и условные, больше способные изъяснить прямое начало, и подобное тем, какие делают вседневно ваши физики о сотворении мира. Закон повелевает нам верить, что как Бог сам извлек людей из естественного состояния, то они неравны для того, что он хотел, чтоб были они таковыми: но

не запрещает составлять нам догадки, производимые из одной природы человеческой и существ его окружающих; о том, каков бы род человеческий был, когда бы он был оставлен самому себе. Вот чего от меня требуют, и о чем я предприимлю исследовать в сем рассуждении! Содержание мое касается до человека вообще, и так я потщусь изъясниться приличным образом ко всякому народу, или лучше сказать, забывая время и места, буду только мыслить о людях, которым я творю; перенесу мысленно себя к Афинской Ликий, и там якобы твердить буду уроки моих учителей, имея Платона и Ксенократа себе судиями, а род человеческий слушателями.

О человек! из какой бы ты страны ни был, какие бы ни были мнения твои, внемли вот история твоя такова, какую мне кажется я понял не из книг, сочиненных подобными тебе, кои суть лжецы; но из природы никогда нелживой. Все, что ни будет от нее, будет истинно, и не найдется ложного, разве что я примешаю от себя против воли своей. Время, о котором я буду говорить, весьма отдалено: сколько ты применился против того, каков был прежде! Сие есть, так сказать, жизнь твоего рода, что я буду описывать по тем качествам, кои ты получил, которые воспитание твое и твои привычки испортили, но не могли истребить. Есть, вижу я лета, в которые бы каждый в особенности человек, хотел остановиться, ты будешь искать таких лет, в которые пожелал бы, чтоб род твой был остановлен. Недоволен, будучи настоящим состоянием, по причинам возвещающим несчастным потомкам твоим еще большие неудовольствия, может быть, пожелал бы ты, чтоб возвратиться вспять; а сие чувство должно делать хвалу первым праотцам твоим, осуждение твоим современникам, и ужас тем, которые будут иметь несчастье жить после тебя.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Как не нужно есть, дляпряного рассуждения о естественном состоянии человека, рассматривать его от самого его начала, и в первом так сказать, зарождении его рода, однако я не буду следовать о его составлении сквозь открытия учинившиеся чрез продолжение времени, не остановлюсь на изыскании в системе животной, каков он мог быть с начала, дабы чрез то наконец дойти до того, каков он есть, не буду испытывать, как думает Аристотель, не были ли его отращенные ногти с начала скорченными когтями; не был ли он облачен шерстью как медведь, и когда он ходил на четырех ногах,⁴ то потупленные его глаза

⁴ Те перемены, которые долговременное употребление ходить на двух ногах могло произвести в составлении человеческого, сходства еще примечаемые между человеческими руками и передними ногами четвероногих, и заключение произведенное из способа их походки, могли повод дать к сомнению, о способе походки каковой долженствовал бы нам быть по природе свойственное. Все младенцы начинают ходить на четвереньках, и имеют нужду в нашем примере и в наших наставлениях, дабы научиться прямо стоять. И есть еще некоторые дикие народы, как на пример Готентоты, которые не брезжа о детях, допускают их ползать так долго, что уже потом с великим трудом их от того отучают: таким же образом поступают Караибы в Антильских островах. Есть разные примеры о людях четвероногих, и я мог бы между прочими представить о том младенце, который был найден в 1344 году близ Гессена, где он воспитан был волками, и после при Дворе Принца Генрика сказывал: что если бы от него зависело, то лучше бы желал он возвратиться опять к волкам, нежели жить между людьми. Он столько навыв ходить на четвереньках, как сии звери, что на лежало привязывать к нему палку, дабы она принуждала его стоять прямо и равновесно на ногах. Таковой же был младенец, найденной в 1694 году в Литве, которой жил с медведями; он не показывал, говорит Г. Кончилиак, немалого знака разума, ползал на руках и на ногах, не имел никакой речи, произносил голоси совсем непохожи на человеческий, маленькой дикой Ганноверец, которого привезли за несколько лет ко Двору Аглинскому, имел превеличайший труд приучиться ходить на ногах; и еще найдены в 1719 году два дикие в Пиренейских горах. Они бегали по горам точно так, как четвероногие животные. Что ж касается до того, что против сего можно предложить, то есть, что сие было бы лишать себя употребления рук, от которого мы толикую имеем пользу, то кроме, что пример обезьян показывает нам, что руки можно употреблять двояким образом. Сие показывало бы только, что человек может дать членам своим назначение способнейшее природного, а не то, чтоб природа определила человеку ходить иначе, нежели она его научает. // Но можно, кажется мне, еще много лучших сего причин сказать для утверждения, что человек есть двуногий: во первых, ежели бы и показано было, что он с начала был другим подобием, нежели как мы его видим, и наконец дошел до того, каков он есть: то сего не довольно было б к заключению, что он сим образом и сотворен: ибо по доказании возможности в сих переменах, надлежало бы еще прежде, нежели их допустить, показать по меньшей мере вероятность из оногo. Сверх того, если кажется,

на землю, и ограниченные горизонтом нескольких шагов, не показывало ль вдруг и свойство, и пределы понятия его? На сие не могу я иметь, кроме одних догадок нетвердых и почти мечтательных. Анатомия, производимая над другими животными, еще весьма малые имеет приращения, примечания испытателей природы, гораздо недостоверны, чтоб можно было на таких основаниях положить точное рассуждение. Таким образом, не прибегая к знаниям сверхъестественным, какие мы о сем имеем, и, не рассуждая о переменах, долженствовавших произойти в состоянии человеческом, как внутреннем, так и внешнем, по мере, сколько он прилагал члены свои к новым употреблениям и питался новой пищей: я положу его в таком образе во все времена, как вижу теперь ходящего на двух ногах, владеющего руками так точно, как владеем мы, обращающего взгляды свои на всю природу, и измеряющего глазами своими неизмеримое пространство небес.

Обнажая сие существо, таким образом учрежденное, от всех выше естественных даров, какие оно могло получить, и ото всех чрез искусство приобретаемых способностей, какие оно могло снискать, не иначе как чрез долговременное приращение, рассматривая его одним словом, таковым, каким оно долженствовало выйти из рук природы: я вижу в нем животное не столь сильное против одних, не столь проворное в рассуждении других, но рассуждая по всему, вижу в нем расположение органов гораздо выгоднее против всех; вижу его насыщающегося под дубом, утоляющего жажду при всяком источнике, находящего себе одр под тем же самым деревом, которое снабдило его пиршеством; и вот уже все надобности его удовольствованы.

Земля, оставленная своему природному плодородию⁵ и порашенная дремучими лесами,

что руки человеческие могли служить вместо ног в случае надобности, то сие есть одно только примечание в пользу сея системы против множества других ей противных. Главные из них суть следующие: что образ тот, каковым голова его соединена с телом, вместо чтоб направлять взор его горизонтально как все прочие животные имеют, и как он и сам прямо ходя имеет, при хождении на четырех лапах устремил бы его глаза точно в землю, которое положение весьма не благо, полезно к сохранению всякого особенно; что не имеет он хвоста, в котором ему нужды нет, когда он на двух ногах ходит, но который столько полезен четвероногим, из коих ни один род одного не лишен, что груди у женщин, будучи весьма удобно расположены для двуножных, держащих младенца на руках, столько неудобны для четвероногих, что ни у коего роду из них оные таковым образом и не расположены; что как зад его чрезмерно высок по мере переда, почему мы, ходя на четвереньках, таскаемся на коленях, то все сие составило бы животное весьма худой размер имеющее, и ходящее гораздо непокойно. Если бы они полагал ногу так плашмя как руку, то имел бы с задней стороны у ноги одним составом менее против прочих животных, а именно: тем, который соединяет лядвейную кость с голенью; что ставши только на цыпках, как он без сомнения принужден был бы делать тарс (Тарс значит кости, составляющие пяту) не упоминая о множестве костей оный составляющих, кажется излишне толст для того, чтоб вместо лядвейной кости быть; составы же его вместе с метатарсом (Пять костей от голени к пальцам) и тибией (Тибия, от колена трость с прочими до лодыжки костями) суть излишне близки, чтоб дать человеческой ноге в таковом положении такую же гибкость, какую имеют четвероногие. Пример младенцев, будучи взят в таких летах, в которых силы естественные еще не совсем открылись, и члены не укрепились, не заключает к сему ничего, я также мог бы сказать, что собаки неопределенны ходить, потому, что они от рождения несколько недель ползают, действия ж особливые недовольно сильны против испытаний общих всем человекам, и самым тем народам, которые, не имея никакого сообщения с другими, не могли ни в чем подражать им. Младенец оставленной в лесу прежде, нежели мог ходить собою, и воспитываемый каким-либо зверем, может быть, последовал примеру питательницы своей, приучаясь ходить так, как она, то привычка подала ему способности, которых не имел он от природы, и как безрукие силою частого употребления доходят до того, что делают ногами все то, что мы делаем руками, так равно дошел он наконец до того, что стал употреблять руки свои вместо ног.

5 Если найдется кто из моих читателей столь худой физик, чтоб похотел мне поспорить о положении сего плодородия, природного земле, то я ему отвечаю следующим: // Как произрастания получают к питанию своему больше существенности от воздуха и воды, нежели от земли, то из сего происходит, что они истлевая возвращают земле больше, нежели из нее вытягивают. Сверх того же, определяет воду дождевую удерживая пары. Таким образом в лесу бережном долговременно не трогая верхний слой земли, служащей к произрастанию, нарочито умножится, но как животные возвращают гораздо менее земле, нежели сколько из нее получают, а люди тратят безмерное множество лесу и всякого произращения огнем и на другие употребления: то из сего следует, что верхний слой земли в стране населенной долженствует всегда уменьшаться, и сделаться наконец таким, как Земля Аравии каменистой, и многих других восточных стран, которых климат в самом деле всех древнее был населен, и где ныне не находят ничего кроме соли и песку, ибо соль из быльи и из животных остается между тем, как все прочие части делаются летучими. Г. Буфон в Истории Натур. // Можно прибавить к

которых секира не подсекала никогда, предлагает на каждом шаге житницы и убежище животному всякого рода. Люди рассеянные между ними, примечают, подражают их искусству, и тем доходят до скотского внутреннего побуждения, с тем преимуществом, что всякой род из них имел только собственное свое, а человек не имея, может быть, и никакого принадлежащего себе особенно, присваивает их все себе, питается равно большей частью тех разных пищах, которые другие животные между собою разделяют,⁶ и, следовательно, чрез то находит прокормление себе гораздо свободнее, нежели всякое из них иметь может.

Привыкнув с младенчества ко всякой непогоде воздуха, ко всякой жестокости времен, приучившись к трудам, и находя себя принужденным защищать нас и без оружия жизнь свою и добычу от других зверей, или спастись от них бегством, человек получает сложение твердое и почти непоколебимое: дети, принося в свет преизрядное сложение тела своих отцов, и укрепляя оное таковыми же переобучениями, какие оное произвело, чрез то приобретают всю силу и Крепость, какую только человеческий род иметь может. Естество поступает с ними так точно, как закон Спартанской с детьми своих сограждан; оно делает сильными и крепкими тех, кои сложение в составлении имеют твердое, а прочих всех губит, разнствуя в том от наших общежитий, в которых правление, учиняя детей тягостными своим отцам умерщвляют их без разбору еще прежде их рождения.

Человек дикий, имея тело свое одним только себе орудием, о котором он известен, употребляет его на разные предприятия, к которым по неимению подобного их переобучения мы совсем неспособны; а в сем наше искусство точно, отъемлет у нас и силу и проворство, которое приобретать того нужда обязывает. Когда бы он имел топор, могла ли бы его рука ломать столь твердые сучья? Когда бы он имел пращу, кидал ли бы он рукою камень так сильно? Когда бы он имел лестницу, мог ли бы он взлезать так легко на дерево? Когда бы он имел коня, мог ли бы он быть столь быстр в бегании? Дай человеку просвещенному время собрать все свой махины вокруг себя; нет никакого сомнения, чтобы он не преодолел свободно человека дикого. Но если хочешь видеть к сражение еще паче неравное, поставь их обоим нагих и безоружных друг против друга: тогда скоро познаешь, какое есть преимущество иметь непрестанно все свои силы в своей воле, быть всегда готовым на всякой

сему доказательство действительное из множества дерев и растений всякого рода, которым и были преисполнены все пустые острова, найденные в сих последних веках, и еще из того, что История нам объявляет о лесах дремучих, которые надлежало вырубить во всей земле по мере того, как распространялись народы и приехали в просвещение. На сие я сделаю следующие три примечания: первое, что ежели есть какой род растений, который бы мог заменить истощение материи произрастающей. Бывающее от животных, по мнению Г. Буфона, то к сему особливо принадлежат деревья, которых верхи и листья их забирают в себя воды, и более паров, нежели все прочие растения. Второе, что истощение поверхности земли, то есть трага существа способствующего к растению, должно ускоряться по мере того, как земля более вспахивается, и жители, сделавшись искуснее, поедают в большем против прежнего избытке произведения всякого рода. Третье и самое нужнейшее из моих примечаний есть, что плоды древ приносят животным пищи гораздо больше, нежели иное какое растение, который опыт я сам делал, сравнивая произрастания двух равных плоскостей земли величиною и добротой, одно насажив каштанами, а другую хлебом.

⁶ Между четвероногими животными два различия самые всеобщие родов плотоядных производятся, одно от вида зубов, а другое от сложения внутренностей. Животные, питающиеся растениями, все имеют зубы плоские, как на пример: конь, вол, баран, заяц; но плотоядные все имеют зубы острые, как то есть: кошка, собака, волк, лисица: что же до внутренностей надлежит, то в животных, питающихся плодами, имеются такие черева, которых в плотоядных нет, как на примере большая кишка. И так кажется, что человеку имея зубы и утробу подобные тем, как имеют животные питающиеся плодами, должен быть естественно вмещено в число сего рода, и не только примечания анатомические утверждают сие мнение, но и писания древних оному благоприятствуют. «Дицеарх, – говорит блаженный Иероним, – объявляет в своих книгах о древностях греческих, что во время владения Сатурнова, когда земля еще была сама собою плодородна, никто из людей мяса не вкушал, но все питались плодами и овощами естественно растущими». (Кн. 2. на Иовиниана.) Можно из сего усмотреть, что я оставляю многие выгоды, которые бы я мог здесь в мою пользу представить. Ибо как добыча есть почти единая причина, которая производит сражения между кровожадных зверей, а питающиеся плодами пребывают всегда между собою в непрерывном мире, то ежели человеческий род есть из числа сих последних, можно ясно видеть, что он имел бы гораздо более способности к пропитанию себя в состоянии естественном, и гораздо меньше надобности и случая из оного выйти.

случай, и носить себя всегда, так сказать, всего с собою.⁷

Гоббесий утверждает, что человек естественно неустрашим, и только ищет всегда нападать и сражаться. Один славный Философ думает сему противное, а Кумберланд и Пуфендорф уверяют, что ничего нет столь робкого в природе, как человек, что он всегда трепещет и готов бежать при наималейшем шуме, слух его поражающем, при малейшем движении им примечаемом. Но сие, может быть, от предметов для него неизвестных; и я не сомневаюсь, чтобы он не ужаснулся при всяком новом позорище, ему представляющемся; каждый раз, когда не может он различить физического добра или зла, которого он от оного ожидать должен, ни сравнить сил своих с подлежащею ему опасностью; обстоятельства редкие в состоянии естественном, к которому все вещи имеют течение толь единообразное, и вид земли не подвержен сим трепетным и непрестанным переменам, каковые нам причиняют страсти наши, и непостоянство соединенных народов. Но человек дикий, живущий между зверей, и с малых лет имея случай драться с ними, скоро делает сравнение; а чувствуя себя, что он более превосходит их проворством, нежели они превосходят его силою, научается их не бояться. Приведи медведя или волка в схватку с диким, твердым проворным и смелым,

7 Все знания, требующие рассуждения, и все те, которые приобретаются только сцеплением понятий, и доходят до совершенства с продолжением времени, кажутся совсем превосходят силу дикого человека, потому что не имеет он сообщения с подобными себе, то есть, что не имеет он орудий, служащих к сему сообщению, и надобностей, которые делают оное нужным. Его знание и досуг ограничивается только тем, чтобы прыгать, бегать, биться, кидать камни, и взлезать на дерево. Но если он не знает кроме сих вещей, то в возмездие знает он их гораздо лучше нежели мы, которые в них столько нужды не имеем; и как оные зависят единственно от упражнения телесного и не приемлют никакого сообщения, ниже приращения от одного человека к другому, то первый человек мог быть в них столько искусен, как и потомки его. // Описания странствующих наполнены примерами о силе и крепости людей живущих в странах варварских и диких народов; и не менее того превозносят их проворство и легкость: а как надобны только глаза, чтобы сие заметить, то ничто не препятствует верить свидетельствам сих самовидцев. Я возьму для сего несколько примеров на удачу из первых, книг попавшихся мне в руки. // «Готентоты, – говорит Колбен, – лучше разумеют рыбную ловлю, нежели Европейцы живущие на мысе. Их искусство равно в неводах, удах и других к тому употребляемых способах, на озерах и в реках. Но столько ж искусно ловят они рыбу руками, их проворство в плавании несравнительно. Их плавание имеет в себе нечто преудивительное, и совсем им только одним свойственное. Они плавают имея став свой прямо и руки простертые по верх воды, так что кажется будто бы они шли по земле. В самом пущем волнении морском, и тогда как волны горами кажутся, они, так сказать, пляшут по волнам поднимаясь и опускаясь как кусок коркового дерева. // Готентоты, говорит тот же писатель, суть проворства ужасного в ловле зверей, и легкость их в бегстве превосходит воображение. Он удивляется, что они чаще не делают худого употребления из легкости своей, что однако ж иногда случается, как то можно рассудить по примеру, который он при сем прилагает. «Один Голландский матрос, выгрузившись на мыс, – говорит он, – отдал Готентоту нести за собою в город сверток табаку, в котором было весу до двадцати фунтов. А когда они отошли от товарищей на несколько шагов, то Готентот спросил у Голландца, умеет ли он бегать?» «Бегать?», – отвечал Голландец. – Да. Очень хорошо». «Посмотрись», – сказал Африканец, и побежав с табаком в ту ж минуту, ушел из виду вон. Матрос смутившись от толь чудной скорости, не вздумал его преследовать, и так уже никогда не видал ни табаку своего, ни Готентота. // Они имеют взор столь быстрый, и руку столь верную, что Европейцы с ними никак в том сравниться не могут. На сто шагов попадают они камнем в цель величиною в половину копейки, а всего удивительнее то, что вместо устремления глаз на цель, как обыкновенно мы делаем, они беспрестанно у них движутся и поворачиваются. Кажется, как будто бросаемые ими камни несет невидимая рука. // Отец дю Тертр говорит почти точно тоже о диких Аншилиззах, что вы теперь прочли о Готентотах мыса Доброй Надежды. Он превозносит особливо их меткость, с какою они стреляют из луков, и убивают безошибочно на полете птиц, и на пльву рыб, которых потом берут они ныряя. Дикие Американцы северной части не меньше сего славны силою и проворством, и вот один пример, которой может подать способ рассуждать об индейцах Америки Южной части. // В 1746 году, один Индеец из Буенос-Эвреса, будучи осужден к посылке на галеру в Кадикс, предложил Губернатору, что он желает выкупить свободу свою, подвергнув жизнь свою опасности на Всенародном празднестве. Он обещал сразиться с самым злобнейшим буйволом безо всякого иного оружия, кроме одной веревки, что он его поборет, что схватив его веревкой за такое место, какое ему назначат, что он его оседлает, взнуздает, сядет на него верхом, и сидя на нем, победит еще двух буйволов самых жестоких, каких только выпустят из зверинца, и потом всех трех сряду, одного за другим, побьет в самую ту минуту, когда ему будет повелело, не требуя ни от кого помощи: что и было ему учинить позволено. Индеец сдержал слово свое, и успел во всем, что он обещал каким образом поступил он при сем случае, и подробность сего сражения, можно увидеть в 1 томе, в 12 части, примечании об Истории Нат. г. Готия, откуда сие обстоятельство взято, на стран. 262.

каковы они и все, вооруженным камнями и доброй палкой: тогда увидишь, что опасность будет, по крайней мере, взаимная, что после нескольких таких опытов, звери несклонны будучи нападать друг на друга, неохотно нападут на человека, в котором они нашли столько же зверства, как и в себе. В рассуждении зверей, которые действительно имеют более силы, нежели он имеет проворства, то против таких он уподобляется другим бессильным животным, которые на то не смотря, бытие свое сохраняют, с тою выгодою для человека, что он не меньше их имея способности к бегу, и находя на деревьях убежище почти верное, может при всякой встрече избирать или бегство или сражение. Присовокупим еще, что и того не видно, чтобы какой-нибудь зверь естественно побуждаем был с человеком сражаться, выключая то, где требует собственная себя защита, или безмерный голод ниже того, чтобы зверь показывал против человека те наглые враждебные чувства, которые кажется как возвещают, что один род определен от природы на съедение другому.

Другие страшнее прежних неприятели, и от которых человек не имеет равных средств к защищению себя, суть естественные немощи, то есть: младенчество, старость и болезни телесные всякого рода, знаки печальные нашей слабости, из коих первые два свойственны всякому животному, а последние принадлежат особливо человеку, живущему в обществе, Я примечаю еще, в рассуждении младенчества, что мать, нося повсюду своего младенца с собою, имеет способы его питать гораздо свободнее, нежели всякая самка из большей части зверей, которые принуждены ходить взад и вперед непрестанно и с великим трудом, с одной стороны для соискания себе пищи, а с другой для написания молоком или для прокормления своих детей. Правда, что ежели случится женщине погибнуть, младенец гибнет с нею почти неизбежно и что сие бегство есть общее премногим другим родам, которых дети чрез продолжительное время не в состоянии сами себе искать пищи; и если детство наше против других родов долее, то и жизнь наша против их гораздо долготнее, по чему еще равенство между ими и нами в сем случае тоже,⁸ и хотя есть в рассуждении продолжения первых лет, и числа детей,⁹ другие правильно оные не принадлежат к моему содержанию, у старых людей движущихся и дышащих уже мало, потребность пищи уменьшается вместе со способностью запасать оную, а как дикая жизнь отдаляет от них простуду и подагру, да и сама собою старость из всех болезней есть та, коей помощь человеческая к исцелению почти неудобна то исчезают они наконец, так что совсем неприметно, когда они престают существовать, и почти так, что не чувствуют они того и сами.

8 «Продолжение жизни лошадиной, – говорит, Г Буфон, – измеряется так, как и во всяком роде животных по продолжению времени их возраста. Человек имея четырнадцать лет росши, может жить в шесть или семь раз против сего времени, то есть, девяносто и сто лет, лошадь же, которой возраст свершается в четыре года, может также жить в шесть или семь раз более сего времени, то есть 25, или и до тридцати лет. Примеры, кои могут быть противными сему правилу, столь редки, что не должно взирать на них как на исключение, из которого можно бы было что-либо вывести. И как лошади толстые породы совершают возраст свой в меньшее время, нежели тонкие, то и живут они не столь долговременно, и становятся стары в пятнадцать лет».

9 Кажется я усматриваю; между животных плотоядных и питающихся плодами, еще другую разность гораздо более общую. Сия разность состоит в числе рождаемых детей, которое в одних родин, в тех родах, кои питаются растлениями, никогда не превосходят двух, а в плотоядных обыкновенно бывает более. Легко можно знать в сем случае определение природы по числу титек, которых в первом роде всякая самка только две имеет, как на пример: кобыла, корова, коза, лань, овца и проч. В последнем же всегда шесть или восемь каждая, например: собака, кошка, волчица, тигровая самка и проч. Курица, гусыня, утка, как птицы плотоядные, так как и орел, ястреб и нетопырь, носят так же и высиживают великое число яиц, чего никогда не бывает у голубок, горлиц, и ни у каких птиц, которые единственно каким-нибудь зерном питаются, и которые не носят и не высиживают, почти более двух яиц вдруг. Причина, которую можно показать сей разности, есть та, что животные, питающиеся травою и былием, проводя почти весь день на соискание пищи, и будучи принуждены употреблять многое время к пропитанию себя, не могут питать много детей, вместо что плотоядные, насыщаясь почти в одно мгновение, могут свободнее и чаще возвращаться к детям своим, и опять на лов, и возвращать себе за утрату великого количества молока. Обо всем оном можно бы многие особливые примечания и рассуждения сделать: но здесь не место. А для меня довольно было показать только в сей части самую общую систему природы, которая подает еще новую причину, чтоб человека исключить из числа плотоядных зверей, а полагать его между родов насыщающихся плодами.

Что касается до болезней, я не буду подтверждать тщетных и ложных возражений, какие обыкновенно большая часть людей, быв здоровыми, делают против врачества, но попрошу только о том, есть ли какое основательное примечание, по которому бы возможно было заключить, что в странах, где сия наука более находится в небрежении, человеческая жизнь была бы короче против тех, в которых она наблюдается совсем должным попечением? Да и как сие может быть, когда мы сами себе более болезней навлекаем, нежели сия наука может снабжать нас врачевным зельем! Чрезмерное неравенство в способе жизни, как то излишняя праздность одних, непомерный труд других, удобность раздражать и довольствоваться жадность и сладострастие, пища, с искусством избираемая для богатых, которая наполняет их горячими соками, и производит толь частое несварение в желудке, и худая яства бедных, иногда и совсем никакой не имеющих, которых таковой недостаток принуждает обременять себя алчно при случае, когда они оную обретают, словом, излишество всякого рода, неумеренные восторги страстей, изнурения, труды, истощения духа, печали, бесчисленные заботы, чувствуемые во всяком состоянии, которыми души непрестанно объемлются вот все те пагубнейшие свидетельства тому, что большая часть наших болезней причиняются нам с нас самих, которых бы мы почти всех могли избежать, храня способ жизни простой, единообразной и уединенной, какой предписан нам от природы. Я осмелюсь почти уверить, если она определила нам быть здоровыми, то рассуждения есть состояние противоестественное, и человек рассуждающий есть животное совсем испорченное. Когда представишь себе твердое тела сложение диких, по крайней мере тех, которых мы еще не погубили нашими крепкими спиртами; когда рассудишь о том, что они не знают других болезней, кроме старости и ран, тогда весьма склонен будешь верить, что легко можешь сочинить историю человеческих болезней по следам истории об общежитиях. Таковое мнение было Платоново, который рассуждает по некоторым врачествам, употребленным или одобренным от Падалира и Махаона при осаде Троянской, что разные болезни, каковы сии врачества должныствовали возбуждать, не были тогда совсем известны между людьми.

С таким малым источником болезней, человек, находясь в природном состоянии, почти, не имеет нужды во врачествах, а еще менее того во врачах; род человеческий с сей стороны отнюдь не худшее имеет состояние против всех других животных. Весьма легко можно узнать от охотников, часто ли находят они в травле зверей больных. Попадаются многие им, которые имеют знаки гораздо глубоких ран, некоторые с перебитыми костями, а иногда и совсем с переломленными членами, но которые исцелены никаким другим врачом, как только одним временем, и не иною воздержностью, кроме обыкновенной их жизни, а тем однако ж не хуже врачества исцелились совершенно, не быв притом мучимы прорезыванием, отравляемы лекарствами, и истощаемы недопущением к пища. Словом, какую бы пользу ни приносило врачество, порядочно исправляемое, ко всегда то известно, что если дикий болезнующий оставленный самому себе, не имеет ожидать помощи, кроме как от одной природы, то не имеет он также ничего и опасаться кроме одной болезни, но сие то часто дает им великое преимущество пред нами.

Должно нам остерегаться, чтоб не смешивать дикого человека с теми, коих мы ныне видим пред глазами нашими. Природа содержит всех животных, оставленных ее попечению с такою особливою любовью, которая кажется доказывает нам сколько она ревнует о своем праве. Конь, вол, кошка и сам осел, живущие в лесах по большей части имеют стан выше, и все телосложение крепче, сильнее, тверже, и бывают гораздо бодрее, нежели те, кои находятся у нас в домах. Они теряют половину своих выгод, учинившись домашними; и можно сказать, что все наши попечения, кои мы прилагаем к их содержанию и прокормлению, ни к чему иному служат, как только отводят их от прямой их породы. Подобно так и о самом человеке: он, учинившись общественным и невольником, становится слаб, робок и уничижителен, а способ жизни его, роскошной и сластолюбной, довершает истощать вдруг и силу и бодрость его. Присовокупим еще, что между состояний дикого человека и живущего в обществе, различие должно быть еще более, нежели между дикими и

домашними скотами: ибо человек и прочее всякое животное сохраняется природою равно, а все те выгоды, которые человек присваивает себе сам с излишеством пред зверями, им укрощаемыми, составляют только же особенных причин, для которых он чувствительнее от своего рода отдалается. Не можно почитать за великое нечастие сим первым людям, ниже за некоторую трудность к сохранению своему, их наготу, недостаток в жилище, и лишение всех тех бесполезностей, которые мы считаем толь потребными. Если тело их не обросло шерстью, то не имеют они в том и надобности, находясь в теплых местах; да скоро узнают они, и их самих холодных употреблять к укрытию себя кожи побежденных ими зверей и если они только две ноги для бегания имеют, то имеют за то еще две руки, способность к защищению себя и к доставлению надобностей. Дети их начинают ходить, может быть, несколько поздно и с трудом, но матери их могут носить их свободно, выгода, которой все прочие роды не имеют, в которых мать, будучи преследуема, находит себя принужденной или оставлять детей своих, или измерять путь свой по их следам. Наконец, разве полежишь сии особливые и случайные стечения обстоятельств, о которых буду я говорить после сего, и которые могут и совсем не случиться, впрочем, ясно видимо изо всего состояния сего дела, что первый кто сделал себе одежду или жилище, доставил себе тем вещи весьма малонужные, понеже он без них до того пробавлялся, да и не видно для чего бы он не мог сносить, возмужав, такую же жизнь, какую сносил с младенчества своего.

Будучи один в праздности, и привыкнув к опасностям, человек дикий должен любить спать, и иметь сон легкой, так как и все звери, мыслящие мало, спят, так сказать, все то время, в которое они не думают ни о чем. Как сохранение себя составляет почти единственное его попечение: то и лучшие его способности должны быть те, которые имеют себе главным предметом нападать и защищаться, или ради покорения чего себе в добычу, или для избежания, чтоб не быть добычею самому, напротив того органы, доходящие до совершенства своего роскошью и сладострастием, должны в нем остаться в таком грубом состоянии, которое отдалает от него всякую нежность; чувства его таким же образом разделены, так что прикосновению и вкусу, должно быть в нем чрезмерно грубыми, а виду, слуху, и обонянию крайне тонкими. Такое-то есть состояние животных вообще, и таковые суть по описанию путешественников большая часть диких народов. И так, не должно удивляться, что Готентоты, живущие на мысе Доброй Надежды, простым взором усматривают корабли на открытом море, так далеко как Голландцы зрительными трубами, ни тому, что дикие Американцы чувствуют Гишпанцов па следу так, как бы могла самая лучшая собака, ниже тому, что все сии варварские породы безтрудно сносят наготу, изощряют вкус свой силою зелий, и пьют спирты Европейские, как воду.

Я до сего рассуждал, только о человеке физически, потщимся его теперь рассмотреть со стороны нравственной и метафизической.

Во всяком животном я вижу только машину хитрую, которую природа одарила чувствами, дабы она действовала сама собою, и сберегала бы себя до некоторой степени от всего, что может сокрушить ее или повредить. Я замечаю точно те же вещи и в машине человеческой, с тою разностью, что природа одна управляет всеми действиями в скотах, напротив чего человек способствует сам своим делам, в достоинстве существа, самовольно действующего. Первый избирает и отвергает по природному побуждению, а последний исполняет по своей воле, от чего происходит, что скот не может отдалиться от правил, ему предписанных, хотя бы то учинить было ему и выгодно, а человек отдалается от онога часто к своему пред осуждению. От сего то голубь умрет с голоду, находясь возле чаши, наполненной самым лучшим мясом, а кошка возле плодов и пшена, хотя как один, так и другая, могли бы весьма изрядно насытиться пищею, которую они уничтожают, если бы только, вздумалось им ее отведать. Таким-то образом люди распутные вдаются невоздержностям, которые им причиняют болезни, а иногда и смерть; понеже мысль повреждает чувства, а изволение и тогда еще повелевает; когда уже молчит природа.

Всякий скот имеет понятия, потому что имеет чувства; он еще и соображает оные до некоторой степени, и человек отличается с сей стороны от скота только количеством.

Некоторые, философы подтверждали еще, что иногда разность бывает от одного до другого человека более, нежели от иного человека до некоторого скота; и так не столько разумение составляет различие существенное между скотов и человека, как достоинство существа, самовольно действующего. Природа повелевает всякому животному, и скот ей повинует. Человек ощущает такое же побуждение; но он познает себя вольным, и соглашаться с оным и противиться ему и в уповании на сию вольность особливо, оказывается бестелесность его души, ибо Физики толкуют некоторым образом механизм чувств, и изображение понятий, но в рассуждении той силы, которую мы имеем желать чего, или лучше что избирать, такой в чувствовании сей силы, не иное уже что обретают, как действия точно свойственные духу, о которых истолковать ничего не можно по правилам механики.

Но, хотя бы трудности, окружающие все сии вопросы, и оставили место для спору о сей разности между человека и скота, то еще есть другое качество весьма существенное, которое их различает, и о котором уже спорить не можно, то есть: способность доходить до своего совершенства, которая при помощи обстоятельств со временем открываешь все прочее, и находится между ними столько же во всем роде, как и в каждом особливо; напротив чего зверь становится чрез несколько месяцев таковым, каким будет он уже и во всю жизнь свою, а род его чрез тысячу лет. Для чего человек один только подвержен приходить в слабоумие? Не для того ли, что чрез оное возвращается он все первобытное состояние? И что между тем как зверь, который ничего не приобрел, не имея также ничего и потерять, всегда остается при своих побуждениях; человек теряя или от старости, или каким-либо другим приключением все, что выше показанная его совершенность, дала приобрести ему, упадает чрез то ниже и самого скота? Коль печально для нас быть принужденными признаться, что сия отличная и почти беспредельная дробность, есть источником всех человеческих несчастий, что она то извлекает его силою времени из сего первоначального состояния, в котором бы дни его протекали невинно и покойно, что она есть та, которая выводя вместе с веками его просвещение и заблуждения, пороки и добродетели, делает оного напоследок тираном самому себе и природе.¹⁰ Ужасно было бы принужденным быть выхвалять, как существо

10 Один славный писатель, начисляя благо и зло человеческой жизни, и сравнивая число сих обоих, нашел, что последнее гораздо превосходит первого, и что, рассуждая обо всем, жизнь человеку есть довольно неприятный дар. Я не удивляюсь таковому его заключению; он взял все сии рассуждения из установления человека гражданского, а если бы взошел он до человека естественного, то можно рассудишь, что нашел бы он заключения от сего весьма разнствующие; он приметил бы, что человек не имеет почти других злополучий кроме тех, которые он сам себе причинил, и что природа была бы оправданна. Не без труда дошли мы до того з чтоб учинить себя столь злополучными. Когда с одной стороны рассмотреть бесчисленные труды человеческие, сколько наук проникнуто, сколько художеств вымышлено, сколько силы употреблено, сколько пропащей насыпано, гор срыто, камней разломано, рек сделано способных к судовому ходу, земель распаханно, прудов выкопано, болот иссушено, сколько возведено ужасных зданий на земле, и как покрыто море кораблями, с другой же стороны, исследовать с некоторым размышлением истинные выгоды из всего оного произошедшие для благополучия человеческого рода, то не можно не быть пораженным от удивительной неравномерности, владычествующей между сих вещей, и не оплакать ослепление человека, которое, к насыщению безумной гордости его, и не знаю какого-то тщетного пристрастия к себе самому, заставляет его бегать с горячностью за всеми злоключениями, каковые только быть могут, и которые благодетельная природа удалить от него старалась. // Люди злы, печальные и всегдашние опыты доказательство, об ином делают ненужным; однако ж человек естественно добр, как я думаю, доказал уже, что ж могло испортить его до такого степени, коли не перемены приключившиеся в его сложении, те приращения, кои он возымел, и знания, которые он приобрел? Пускай удивляются сколько угодно сообществу людей, но тем не менее будет правда, что она необходимо влечет людей ненавидеть друг друга, по мере того, как корысти их между собою сопротивляются делать взаимно наружный вид имеющие услуги, а в самом деле причинять все оскорбления, какие только вообразить возможно. Что подумать можно о таком сообщении, где рассудок каждого особливо внушает правила точно противные тем, которые разум общенародный проповедует всему обществу, и в котором каждый находит свой счет в несчастии ближнего? Может быть нет ни единого достаточного человека, которому бы алчущие наследники, а часто и собственные чада не желали тайно смерти нет ни единого корабля в море, которого бы разбитие не было приятно ведомостью какому-либо купцу; ни единого дому, которого бы должник не желал видеть сгорающим со всеми в нем находящимися бумагами; ниже единого народа, которой бы не веселился о злоключениях своих соседей. Таким-то образом находим мы наши выгоды в предосуждении подобных нам, и утрата одного почти всегда составляет благополучие другого. Но еще бедственнее сего то, что напасти общенародные составляют ожидание и надежду многих людей в особенности. Одни желают болезней, другие мору, иные войны, а

благодетельное того, кто первый научил жителей берегов Ореенокских употреблению тех тисков, которые они детям своим к вискам прикладывают, чрез что оные, по крайней мере, некоторую часть своего слабоумия и первобытного благополучия сохраняют.

И так, человек дикий, преданный природою единому побуждению, или лучше сказать, награжденный за то, которого он не имеет, способностями, может быть, могущими дополнить сей недостаток с начала, но потом уже его возводящими гораздо выше самой природы, начнет единственно животными действиями¹¹ примечать, и чувствовать будет самое первое его состояние, и ему общее со всяким животным, хотеть и не хотеть, желать, и бояться, будут начальными и почти едиными действиями его души, пока новые обстоятельства не воспричинствуют новых откровений.

Чтобы ни говорили нравоучители, но разумение человеческое много одолжено

некоторые глуда. Я видел таких ужасных людей, которые плакали горько от предвидения в будущей год плодородия; и великий оной и разорительный Лондонской пожар, которой стоял жизни или потери имения столь многим несчастным, сделал счастье, может быть, более как десяти тысячам человек. Я знаю, что Монтан порицает де Мадеса Афинянина за то, что он наказал дроводела, который продавал весьма дорого гробы, и получал великий прибыль от смерти сограждан своих; но как причиною тому Монтан полагает, что надлежало б карать весь свет, то ясно, что она утверждает мои доводы: надлежит сквозь все наши пустые оказания благосклонности проникнуть, то что происходит во внутренности наших сердец, и рассудить, каково долженствует быть состояние вещей, в котором все люди принуждены друг друга лобызать и истреблять себя взаимно, где они рождаются врагами по должности, и бездельниками для корысти. Если мне будут ответствовать, что общество так установлено, что каждый человек выигрывает делая услуги другому, то я окажу опять, что сие было бы весьма изрядно, если бы он не больше выигрывал в причинении им вреда. Нет никакого прибьтка столь законного, которого бы не превосходил прибьток беззаконно получаемый, и обида, творимая ближнему, всегда бывает прибытнее, нежели услуги. Одно только требуется, чтоб найти средство к надежному избежанию наказаний, а в том то могущие употребляют все свои силы, а слабые все свои коварства. // Человек дикий, когда насытит чрево, пребывает мирно, со всею природою, и дружественно со всеми подобными себе, если требуется где спорить о добыче, то никогда не доходит он до битвы, не сравни наперед ту трудность, с какою должно победить супротивника, с той, которая может найтись в соискании себе снеди инде; а как гордость отнюдь не вмешивается в сие сражение, то и решится оно несколькими кулачными ударами: победитель жрет отнятое, а побежденный идет искать счастья своего, и все успокоено. Но человек в общежитии совсем уже другое дело; тут требуется, во-первых, снабдить себя в самонужном, а потом в излишнем, после того приходят прохлады, потом бесчисленное богатство, потом подданные, и после всего рабы, нет единой минуты для отдохновения; а всего страннее то, что чем меньше потребности суть естественны и нужны, тем более страсти умножаются, и еще хуже того, умножается и возможность их удовлетворять, так что после долговременного благополучия, поглотив многие сокровища, к разорив несколько людей, герой мой кончит тем, чтоб всех поражать до тех пор, как учинится он единственным властителем всех вселенных. Такое есть вкратце изображение нравственное, если не жизни человеческой, то, по крайней мере, тайных желаний сердца в человеке просвещенном. // Сравни без предрассуждения состояние человека гражданского с состоянием человека дикого, и исследуй, если можешь, колико первый, кроме его злости, нужд и бедностей, отворил новых входов болезни и смерти. Если рассмотришь беспокойства разума, наснедающие, стремительные страсти, которые нас истощают и огорчают, чрезмерный труд, коим убогие обременены, роскошь еще того опаснейшую, в которую богатые вдаются, и которые умерщвляют одних недостатком, а других излишеством. Если помыслишь о чудных смешениях пищи, об их вредных приправах, о испорченных, съестных припасах, о подделанных пряных кореньях, о мошенничестве их продающих, о ошибках тех, которые приготавливают, о яде сосудов, в коих оные приготавливаются: если войдешь в примечание о болезнях заразительных, родившихся от дурного воздуха, между множеством людей в одно место собранных, и о тех, которые приключаются нам от нежного способа нашей жизни, от беспрестанного выхождения из внутренности дому на воздух, от употребления одежды надеваемой или скидаемой весьма неосторожно, и о всех тех попечениях, которые наша излишняя чувственность сделала необходимыми навыками, и которых небрежение или лишение после часто стоит нам жизни или здравия: если еще поставишь в счет пожары и трясения земли, пожирающие и разрушающие целые грады, и погубляющие жителей тысячами: словом, если соберешь те бедствия, которые все сии причины непрестанно держат над нашими главами; тогда почувствуешь сколько природа заставила нас платить себе дорого за то презрение, которое мы оказали ее наставлениям. // Я не буду повторять здесь о войне для того, что уже в другом месте упомянул; но желал бы, чтоб люди знающие похотели или осмелились описать обществу подробно те ужасности, которые причиняются в войсках от подрядчиков доставляют их съестные припасы, и от содержателей больниц, тогда увидели бы, что их не весьма тайные приемы, чрез которые и самые лучшие войска в самое кратчайшее время пропадают, более солдате погубляют, нежели сражает неприятельский меч и орудия. Есть еще другое не меньше того ужасное вычисление о тех людях, которых глубина морская поглощает ежегодно, или голодом или цинготною болезнью, или морскими разбойниками, или огнем, или кораблеразрушением. Ясно также и то, что должно полагать на счет установленной собственности, и

страстям, которые по общему призванию также много одолжены оному. Чрез их то действие наш разум доходит до совершенства, мы не для инаго чего ищем знания, как что желаем пользоваться: и не можно понять, чего б ради тот, который не имеет ни желаний, ни опасностей прилагал труд рассуждать. Страсти со своей стороны производят начало свае от наших потребностей, а приращение их от наших уже знаний: ибо не можно иначе ни желать, ни опасаться, как по тем понятиям, какие мы о вещах имеем, или от одного возбуждения природного: а дикий человек, будучи лишен всякого просвещения, не ощущает кроме страстей сего последнего рода. Его желания не превосходят физических надобностей.¹² Все удовольствия, которые он знает в свете, суть пища, женщина и покой, все зло, которого он страшится, есть боль и глад. Я говорю боль, а не смерть, для того, что никогда скотина не ведает, что есть такое умереть, познание о смерти и страх от оной, есть одно из первых

следственно на счет сообщества, все убийства, отравления ядом, разбой на больших дорогах, и самые казни за сии преступления, казни необходимо нужные для отвращения еще большего зла, но которые за умерщвление одного человека стоят жизни двум или более, в самом деле, усугубляют трату человеческого рода. Сколько есть постыдных средств, которыми препятствуют рождению человеческому, и обманывают природу, или скотским оным и испорченным вкусом, который бесчестит прекраснейшее ее создание, которого дикие люди, ни прочие животные не знали никогда, и который в самых просвещенных местах не от инаго чего родился, как от воображения испорченного, или тайными оными изгнаниями младенцев, как достойными плодами развращения и ложной чести, или откидыванием и убийством множества младенцев, как жертв убожества родителей их, или бесчеловечного стыда их матерей, и наконец, искажением сих несчастных, которых часть бытия и все потомство жертвуемо бывает суетным песням, или что еще хуже, зверской ревности некоторых людей, которое искажение в сем последнем случае сугубо обидит природу, и потому поступку, которой сносят претерпевающие оное, и по употреблению, к которому они назначаются. Что ж было б, если бы я предпринял показать человеческий род, утесняемый в самом своем источнике, и даже и до священнейшего из всех союзов, когда не смеют уже слушать природы, прежде пока не изедают богатства; и когда по смешении гражданским беспорядком добродетелей с пороками. Воздержание становится законопреступной предосторожностью, а отречение даровать жизнь себе подобному есть действием человеколюбия? То не раздирая завесы, скрывающей от нас толикие ужасности, удовольствуемся мы назначить то зло, которому другие врачество принести должны. // Приложи ко всему оному многие те мастерства нездравые, которые сокращают жизнь, или разрушают сложения тела: каковые суть работы рудокопные, разные приготовления металлов и минералов, а особливо свинца, меди, ртути, кобальта разных родов, мышьяка, и еще другие бедственные работы, которые ежедневно стоят жизни множеству в них упражняющихся людей з как то суть: кровельщики, плотники, каменщики, работающие при строениях, или которые достают камень из гор, где он родится, соедини, говорю я, все сии предметы, и тогда увидишь в установлении и совершенстве сообщества причины умаления целого рода, которое не одним уже философом примечено. // Роскошь, которую не можно отвратить у людей жаждущих собственной своей выгоды, и уважения от других, скоро довершает зло начатое сообществом; и под предлогом, якобы давать пропитание убогим, которых делать не надлежало, приводит в скудость всех прочих, и искореняет рано или поздно народ в государствах. // Роскошь есть врачество многозлейшее, нежели то зло, которое думают ею исцелить, или лучше сказать, самое величайшее зло, в каком бы то правлении ни было, в большом или в малом, и которое для пропитания множества слуг и бедных, коих оно учинило, разоряет и притесняет земледельца и гражданина: подобно сим жарким южным ветрам, которые покрывая траву и зелень пожирающим оную гадом, отъемлют снесь у животных полезных, и приносят глад или смерть во все места, где они чувствуются. // От сообществу и роскоши их производимой, рождаются художества свободные и механические, Коммерция, письма и все сии бесполезности, которые искусство приводят в цветущее состояние и так обогащают и губят государства, причина сей гибели есть самая простая. Легко видеть можно, что земледелие по естеству своему долженствует быть меньше всех художеств прибыльно и потому что как его произведение есть такого употребления, которое необходимо всем людям, то цена онога должна быть размерная способностям самых убогих. Из того ж самого начала можно вывести сие правило, что вообще художества суть прибыточны, в называемом так от математиков обратном содержании их пользы, и что самые нужнейшие из них должны сделатья наибольше пренебрегаемыми. Из сего видимо, что должно думать об истинных выгодах искусства и о вещественных действиях, которые происходят от приращения его. // Такие то сущь чувствительные причины всех бедностей, в которые наконец богатство ввергает самые славные народы по мере как искусство и художества распространяются и процветают, земледелец презренной, обремененной податью, потребною на содержание роскоши, и осужденной препровождать жизнь в работе и голоде, оставляет свои поля и уходит в город искать хлеба, которой было ему надлежало туда привозить. Чем более столичные города поражают удивлением глаза глупого народа, тем более надлежало бы сострадать, видя деревни оставленными, земли запущенными, и большие дороги исполнены несчастными согражданами сделавшимися или нищими, или ворами, и назначенными кончить когда-нибудь бедность свою на колесе или на навозе. Таким-то образом государства обогащаясь с единой стороны, ослабевают и умалются народом; с другой и самые сильные Монархи по многочисленных трудах ко обогащению своему и опустошению кончат тем круг свой, что становятся добычею

приобретений, которые человек получил, отдаваясь уже от животного состояния.

Легко бы мне было, если бы я почел за нужное, утвердить сие мнение самыми действиями, и показать, что во всех странах света, приращение разума происходило точно по мере тех надобностей и которые народы получили от естества, или которым обстоятельства их подвергли, и следовательно по мере страстей, которые их понуждали доставлять себе оные. Я показал бы в Египте науки, родившиеся и возрастающие вместе с наводнением Нила, прошел бы за их успехами у Греков, где оные зародились, возросли, и возвысились до самых небес между песками и камнями Аттическими, а не могли укорениться на влажных берегах Евфрата, я означил бы что народы северные вообще все досужее тех, которые живут к югу, для того, что не столько могут они без оного обойтись, природа как будто сим образом хотела сохранить равенство, даровав разуму то изобилие, которого она лишила землю.

народов убогих, которые подпадают пагубному искушению, чтоб оные погрять, которые обогащаются и ослабевают также в свою очередь, до тех пор, как будут равным образом пограны и сокрушены другими народами. // Пускай удостоят нас того, чтоб истолковать нам когда-нибудь, что могло произвести сии облака варваров, которые чрез продолжение стольких веков покрыли всю Европу, Азию и Африку? Искусству ли художеств, или премудрости законов, или преизрядству своего градодержательства, одолжены они сей чудною многочисленностью народа? Да благоволят наши ученые люди сказать нам, для чего вместо умножения до сей степени, сии жестокие, зверонравные, непросвещенные, необузданные, и никакого воспитания неимеющие люди, не убивались между собою повсечасно за свою пищу и ловлю? Пускай растолкуют они нам, каким образом сии несчастные имели только дерзновение посмотреть в лице столь искусным людям, каковы мы были, с таким преизрядным военным порядком, с такими изящными уложениями, и столь премудрыми законами? Наконец для чего, с тех пор, как сообщество дошло к совершенству в полночных странах, и как там приняли столько труда научать людей взаимным их должностям, и искусству, чтоб жить приятно и спокойно друг с другом, не видно уже более, чтоб люди выходили оттуда подобно тем множествам, которые оной север производил прежде сего? Я весьма боюсь, чтобы напоследок не вздумал, кто мне ответить, что все сии великие вещи, а именно: художества, науки и законы, весьма премудро изобретены человеками, как мор полезной, дабы предупредить излишнее умножение человеческого рода, для опасности, чтоб сей свет, нам назначенный, не сделался, наконец, тесен для обитателей. // Так что ж! разве должно истребить сообщества, уничтожить твое и мое, и возвратиться жить в леса между медведей? Следствие приличное моим са-противникам, которое я столько ж желаю предупредить как и оставить при них тот стыд, что они производят оное. О вы! которым глас небесный не дал себя слышать, и которые не знаете своему роду другого назначения, кроме того, чтоб кончить только в тишине сию краткую жизнь у вы, которые можете оставить посреди градов ваши пагубные приобретения, ваши беспокойные разумы, ваши серди а поврежденные и желания необузданные, воспримите таки, понеже то от вас только зависит, древнюю вашу и первоначальную невинность, бегите в леса истребить из виду и памяти своей злодеяния современников ваших, и не опасайтесь, чтоб вы тем уничтожили род свой, когда отречетесь от просвещения оного, дабы чрез то отречься и от пороков его. Что же принадлежит до людей подобных мне, которых страсти навсегда истребили первобытную простоту, которые не могут уже питаться былием и желудями, ни обойтись без законов и начальников, те, которые еще при первом праотце своем почтены были наставлениями естественными, те, которые в намерении, чтоб с самого начала приписать действиям человеческим нравственность, коей бы они чрез долгое время не приобрели, узрят причину заповеди неразнственной самой по себе, и неистолкуемой во всякой другой системе, те, одним словом, которые удостоверены, что глас Божественный призвал весь род человеческий к просвещению и к благополучию небесных разумов, все те, чрез упражнения в добродетелях, каковые они исполнять обязываются, научась оные знать, потщатся заслужить мзду вечную, которой они от сего ожидать должны, они будут почитать священные союзы общества, которого они члены, возлюбят себе подобных, и будут им помогать всею своею возможностью, будут с крайним рачением повиноваться законам, и тем людям, кои суть оных податели и служители: паче всего почитать будут добродетельных и мудрых Государей, которые знать будут как предупреждать, исцелять или умягчать сию бездну злоупотреблений всегда готовых подавить нас; они будут возбуждать ревность сих достойных начальников, показывая им безбоязненно и нелестным сердцем великость их звания и строгость их должности, но не меньше, однако же презирать будут такое установление, которое не может удержаться без помощи стольких почтенных людей, каковых чаще желают, нежели находят, и из которого несмотря на все их попечения, рождается всегда больше вещественных бедствий, нежели видимых выгод.

11 Между людьми, которых Мы знаем, или чрез самих себя, или по историям, или от странствующих, есть один черные, другие белые, и некоторые красные, иные носят длинные волосы, а некоторые имеют как кудреватую шерсть; одни совсем косматы, другие не имеют и бороды; были, а может быть и ныне еще есть, страны людей имеющих рост гигантский, и оставя басню о Пигмеях, которая может легко быть не иное что, как только увеличение, известно то, что Лапонцы, а особливо Гренландцы, гораздо меньше следственного человеческого росту уверяют еще, якобы есть целые народы, которые имеют хвост, так как четвероногие животные: и, не веря слепо оказаниям Геродотовым и Ктезиасовым, можно, по крайней мере, вывести из них

Но, не прибегая к историческим недостоверным свидетельствам, кто не видит того, что дикого человека, кажется все удаляет от покушений и всех средств, чрез которые можно бы ему перестать быть таковым? Воображение его не представляет ему ничего сердце его ничего от него не требует, его малочисленные надобности находятся всегда свободно под его руками; он столько далек от степени нужных познаний, чтоб желать приобрести в том большие, что не имеет ни предвидения, ни любопытства. Зрелище природы становится для него неудивительным, понеже оно ему столь много откровенно; в нем видит он всегда единый порядок, и всегда те же перемены; он не имеет смысла, чтоб удивляться и самым великим чудесам, и у него не должно искать философии, в которой человек имеет нужду, дабы узнать, как сделать тому наблюдение однажды, что он видел вседневно, душа его не смущающаяся ни от чего, предается единому чувствованию настоящего существования

следующее весьма вероятное мнение, что если бы можно было сделать обстоятельные примечания в сих древних временах, в которых разные народы следовали обрядам жизни разнственнейшим нежели ныне, то приметили бы также в образе и состоянии тела гораздо удивительнейшие различия. Все сии действия, о которых легко можно предложить доказательства неоспоримые, могут только тех удивить, кои привыкли видеть те единые предметы, какие их окружают, и которые не ведают о сильных действиях различных климатов, воздуха, пищи, способов жизни и привычки вообще, а особливо преудивительной силы тех же самых причин, когда они действуют беспрестанно чрез долгое последствие родов. Ныне, когда коммерция, путешествия, победы, более соединяют разных народов, и как способы жизни их непрестанно становятся сходственнее чрез частое между ними сообщение, примечается, что некоторые различия между разными народами убавились; и на пример: каждый может заметить, что французы нынешних времен не имеют уже той величины стана, той белизны и белокурых волос, какие описывали историки латинские, хотя время и притом смешение франков и нормандцев, которые также белы и белокуры, должно было восстановить то, в чем сообщение с римлянами может быть умалило силу климата в составлении естественном, и в цвете лица жителей. Все сии примечания о переменах, которые тысяча причин могут произвести и уже произвели самым делом в человеческом роде, заставляют меня сомневаться в том, что разные животные, подобные человеку, приемлемые от странствующих за скотов без дальнего исследования, по причине некоторых различий, каковые они усматривали в наружном составлении, или потому только, что сии животные не говорили, не были ли в самом деле подлинны дикие люди, которых племя, рассеянное издревле по летам, не имело случая открыть никакой действующей способности, не получило ни малой степени совершенства, и так находились еще в первобытном естественном состоянии. Приобщим здесь пример тому, что я чрез сие сказать хочу. // «Находится, – говорит переводчик истории о путешествиях, в королевстве Конго, – множество великих животных, которых называют Оранг-Утанг в Восточной Индии, которые имеют как будто посредственность в подобии между людьми и большими обезьян». Баттель объявляет, что в лесах Маиомбских, в королевстве, называемом Лоанго, есть два рода чудовищ, из которых больших называют Пангос, а других Аниокос. Первые имеют совсем подобие человеческое, но гораздо толще, и весьма высокого роста. Лицо у них человеческое, глаза весьма впали, на руках у них, на щеках и на ушах волос нет никаких, кроме бровей, на которых волосы весьма долгие. Хотя все прочее тело у них космато, но те волосы гораздо не густы и цвет их темноватый. Наконец, единая только часть, которая их различает от людей, есть нога, понеже она у них без икры, они ходят прямо держа руками волосы зашейные; их убежище в лесу, они спят на деревьях, и делают себе там некоторый род шалаша, который прикрывает их от дождя. Пища их состоит в плодах или диких орехах. Никогда они не едят мяса; черные люди тамошние, проходя сквозь леса, имеют обыкновение зажигать огонь ночью. Они примечают, что утром по отшествии их Пангосы заступают место их вокруг огня, и не отходят доколе он не погаснет: ибо совсем проворством своим не имеют они смысла продолжать его, принося дрова. // Они ходят иногда множеством, и убивают тамошних черных жителей прохожих чрез леса, нападают еще и на слонов, которые приходят для соискания пищи в места ими обитаемые, и столько докучают им ударами рук своих и палок, что принуждают их обращаться в бегство с великим криком. Никогда Пангоса Живаго не лавливали, для того, что они столь твердого сложения, что и десяти человек не довольно его остановить; но черные ловят их множество маленьких убивая прежде матерей, за которых дети весьма крепко держатся: когда кто из сих животных умрет, то прочие покрывают его тело набрав несколько сучья и листьев. Пурхасий прилагает, что в разговорах, которые он имел с Баттелем, слышал он от него самого, что один Панго у него унес маленького Арапа, который препроводил целый месяц в сообществе сих животных; ибо они не причиняют никакого вреда людям, коих они похищают, по крайней мере, когда оные на них не устремляют взоров, как то заметил сей маленький Арап. Баттель не описал другого рода из сих чудовищ. // Даппирь утверждает, что королевство Конго наполнено сими животными, которых в Индии называют Оранг-Утанг, то есть, лесные жители, а Африканцы называют их Кояс-Моррос. Сей скот, говорит он, столько подобен человеку, что некоторым странствующим пришло на мысль заключить, якобы они происходили от смешения женщины с обезьяненным самцом: химера, которую и сами Арапы отвергают. Один из сих животных был привезен из Конго в Голландию, и представлен Принцу Оранскому Фридриху Генриху. Он был росту трехлетнего младенца, и толстоты посредственной, но как четвероугольной и изрядного размера, весьма проворен и скор, ноги жирные и крепкие, весь перед тела был у него нагой, но зад покрыт волосами черными.

своего, безо всякого о будущем понятия, как бы близко оно быть ни могло, а намерения его столько же ограниченные, как и его мысли, едва ли простираются и до окончания одного дня. Таков еще и ныне степень предвидения у Карайба, он продает поутру из хлопчатой бумаги сделанную постелю, а вечером приходит со слезами выкупить ее, не предусмотрев, что в следующую ночь будет опять иметь в ней надобность. Чем более рассуждается в сем содержании, тем более расстояние между беспримерною ощутительностью и самым простым познанием, увеличивается в наших глазах; да и не возможно понять, как мог бы человек единими своими силами, без помощи обхождения с другими и без понуждения надобностей, перейти толь великий промежуток. Сколько может быть, прошло веков, прежде нежели люди дошли до того, что стали в состоянии видеть другой огонь, кроме небесного? Сколько требовалось им разных случайностей, чтоб научиться самому общему употреблению

При первом взгляде лицо его сходствовало с человеческим, но он имел нос плоский и короткий с выгибом, уши подобны человеческим, груди, ибо то была женского рода, были толсты, пуп впал, плечи весьма изрядно сложены, руки разделены на пальцы, икры и пяты жирные и тельны. Она ходила часто прямо на ногах, и в состоянии была поднимать и носить довольно величины тягости. Когда желала она пить, то приподымала рукою верх кружки, и поддерживала низ другою. Потом обтирала изрядно губы, ложилась спать головою на подушку, прикрываясь толь искусно, что можно б почесть ее за человека лежащего на кровати. Арапы странные делают рассказы о сем животном. Они сказывают, что оные не только насилуют женок и девок, но осмеливаются нападать и на вооруженных людей. Словом, много видимо, что то Сатиры древних. Меролла говорит может быть о сих скотах, когда рассказывает, что Арапы в своих охотах ловят иногда мужчин и женщин диких. // Упоминается еще о сих родах животных человекообразных в третьем томе той же истории о путешествиях, под именем Бегго и Мандрилла; но держась пред сим предложенных известий, во описании сих называемых чудовищ находится удивительное сходство с человеком, и разности меньшие нежели можно иногда означить от одного человека к другому. Не видно в сих описаниях причин, на которых сии сочинители основываясь, не дают помянутым животным имени человека дикого; но легко догадаться можно, что то для их глупости, и для того, что они не говорят причины весьма слабые для того кто знает, что хотя органы у словесные суть естественны человеку, но слово само собою однако же ему неприродно, но кто это знает, до какого степени совершенствование человека могло вознести человека гражданского выше его первобытного состояния. Малое число строк, содержащихся в сих описаниях, могут нам дать на рассуждение сколь худо сии животные были примечены, и с какими предрассудками они были рассматриваемы. Например: они названы чудовищами или уродами, однако ж, соглашаются притом, что они рожают. В одном месте Баттель говорит, что Пангосы убивают Арапов, проходящих чрез лес: в другом Пурхасий прилагает, что они им не причиняют никакого вреда, когда их и нечаянно поймают, по крайней мере, ежели пристально на них не смотрят. Пангосы собираются около огня раскаленного черными людьми тогда, как сии отходят, и уходят также сами как огонь загаснет: вот действие, и вот толкование примечателя: ибо с великим проворством не имеют они довольно смысла продолжать огонь, принося дрова. Желал бы я отгадать, как Баттель или Пурхасий, его скропатель, мог знать, что удаление Пангов было по причине неразумения а неизволения их. В климате, в каком лежит Лоанго, огонь не весьма нужная вещь животным, и если черные люди его возжигают, то не столь от холоду, как для устрашения диких зверей, и так весьма то внятно, что повеселясь несколько пламенем, или довольно нагревшись, Пангосы скачуют оставаться всегда на одном месте, и отходят для соискания себе корму, которое требует больше времени нежели тем, кто ест мясо. Сверх того известно, что большая часть животных, не исключая и человека, суть естественно ленивы, и отвергают всякое попечение, кроме самых необходимых нужд. Наконец весьма странно кажется, чтоб Пангосы, которых проворство и силу превозносят, Пангосы, которые умеют погребать своих мертвецов, и делать шалаши из сучья и листьев, не умели положить полена в огонь. Я помню, что видел я обезьяну исправляющую сие действие, которое хотят отнять у Пангосов, правда, что как мои мысли не были обращены к сей стороне, то и сам сделал тот же проступок в котором виню наших странствующих, и я пренебрег исследовать то ли было точно намерение обезьяны, чтоб продолжать огонь, или просто только, как я думаю, дабы подражать действию человека. Но как бы то ни было, весьма то доказано, что обезьяна не составляет некоторого особливого вида человека; не только потому, что она лишена способности говорить, но особливо для того, что весьма достоверно, что род сей не имеет способности получать в чем-либо от времени до времени большее совершенство, каковое свойство есть собственное рода человеческого. Но такового испытания кажется совсем не делано в рассуждении Пангосов, и Оранг-Утангов, дабы можно было произвести такое же заключение, однако же было бы средство, по которому, если бы Оранг-Утанги, и прочие, были рода человеческого, примечатели самые грубые могли бы в том, и еще доказательно, увериться; но кроме что единого возрождения человеческого довольно для сего опыта, оной должно почесть неудобноисполнимым для того, что надобно, дабы то, что есть только единое положение, было доказано за истину, прежде нежели опыт, который долженствует утвердить действие, может быть предпринят невинным образом. // Скоропостижная рассуждения, которые не суть плодом просвещенного ума, подвержены тому, чтоб вдаваться в излишества. Наши странствующие без чинов делают скотов под именем Пангосов, Мандриллов и Оранг-Утангов, из самых тех тварей, из которых под именем Сатиоров, Фавнов, Силванов, древние богов делали. Может быть, по

сея стихии? Сколько раз допускали они погасать оному, пока еще не нашли искусства его производить опять? И сколько может быть раз, всякая из сих тайн умирала вместе с тем, который оную изобрел? Что скажем мы о земледелии, как о искусстве, требующем сколького труда и предусмотрения, которое связано с другими искусствами, и о котором весьма явственно, что оно не иначе могло быть во употреблении, как по крайней мере в начавшемся уже обществе, и которое не только служит нам к получению семье образом из земли пищи, коею бы она снабжала нас и без того, как к принужденно ее произрастить те преимущества, кои вкусу нашему приятнее? Но положим, что люди умножились до такого числа, чтобы уже естественных произращений недовольно было к пропитанию их, которое положение сказать при сем можно, показало бы великую выгоду для человеческого рода, в сем образе живущего, положим, что без кузницы и приличных к ней снастей, орудия, принадлежащие к

точнейшем разыскании найдется, что то люди, между тем, кажется мне, что столько же есть причины соглашаться в том с мнением Меролловым, как монаха ученого, самовидца, и который, со всей своей простотой, был однако ж человек остроумной, сколько с купцами, Баттелем, Даппиром, Пурхасием, и другим подобным скропальщикам. // Какое рассуждение, думаете вы, учинили бы такие примечатели о младенце найденном в 1694 году, о котором я говорил пред сим, которой не подавал ни малейшего знака разума, ходил на руках и на ногах, не имел никакой речи, и произносил звуки голоса ни в чем несходственные с гласом человеческим. Он чрез долгое время не достиг до того, продолжает тот же философ, который об нем описывает, чтоб извести несколько слов, да и после того произносил оные невежественным образом. Как скоро он начал говорить, то спрашивали у него о его прежнем состоянии, но он не больше о том помнил, как мы памятуем о том, что с нами происходило в колыбели. Если бы по несчастию сей младенец попался в руки наших странствующих, то не можно сомневаться, чтобы они приметив его молчание и неосмысленность, не приняли намерения отпустить его возвратно в лес, или заключить в зверинец, а после того они ученым образом стали бы рассказывать о нем в преузорочных своих описаниях, как о скоте весьма недостойном любопытства, и довольно подобном человеку. // С три или четыреста лет, как жители Европейские рассыпались по всем другим частям света, издают непрестанно новые собрания путешествий и описаний своих; я уверен, что мы никого из людей не знаем, кроме одних Европейцев, да и то еще по смешным не истребившимся и в самых ученых людях предрассудкам, кажется, что всякой под оным великолепным именем ручательства о познании человека, простирает оное только до людей своей земли, участвующие люди сколько ни ездят туда и сюда, но философия кажется не путешествует, по чему в каждом народе она мало способна для другого народа. Причина сего видима ясно, по крайней мере, в рассуждении отдаленных стран: почти только четыре звания людей предприимлют дальние странствования, а именно: мореплаватели, купцы, солдаты и проповедователи: но не должно почти ожидать чтобы три первоупомянутые сих званий снабжали свет настоящими примечателями а что касается до четвертого, то сии упражнясь в высочайшем деле, на которое они призваны, хотя бы они и не подвержены были предрассудкам своего звания, как все прочие, должно думать, что не попустятся они добровольно в изыскания, которые кажутся сущим только любопытством, и которые отвратят их от важнейшего исправления того, к коему они определены. А притом для проповедования полезным образом Евангелия нужна только ревность, а прочее Бог сам подает. Но чтоб научиться познанию людей, то надобно иметь таланты, которых Бог подавать никому не обязался, и которые не всегда бывают уделом сих святых мужей. Нет ни единой книги о путешествиях, в которой бы не находилось описания о свойствах и нравах, но крайне удивительно видеть, что сии люди, которые описывают о столь многих вещах, не иное что говорили как то, что уже давно каждому было известно, не могли ничего приметить в другом краю света, кроме того, чтобы весьма удобно было им увидеть не выходя из своей улицы, и что оные истинные черты, различающие народов, и поражающие око, почти всегда сокрыты были от их глаз, от сего то произошло преизрядное нравоучительное, толь много повторяемое толпою философов, что люди повсюду те же, что как они имеют везде те ж страсти и пороки, то весьма бесполезно искать того, как бы изобразить свойства разных народов, которое рассуждение столько же основательно, как бы кто сказал, что не возможно различить Петра с Яковом для того, что они оба имеют нос, рот и глаза. // Не уже ли не узрим ми никогда возрождение тех счастливых времен, в которые народы не вмешивались философствовать, не Платоны, Талесы и Пифагоры, объята будучи ревнительным желанием знания, предпринимали наивеличайшие странствования единственно для того, чтоб научиться, и отлучались в дальние страны для свержения ига предрассуждений своих стран, научиться знать людей по их сходствам и разствиям, и приобрести всеобщее оное познание, которое не до одного века, или до одной страны принадлежит исключительно, но будучи всех времен и всех стране, есть так сказать, общая наука премудрых? // Удивляются пышности некоторых любопытных людей, которые предпринимали, или заставляли предпринимать с великим иждивением путешествия на восток с учеными людьми и с живописцами, для изображения развалин древних зданий, и разобрания или описания надписей, но я с трудом могу понять, как можно в таком веке, в котором все похваляются преизрядными званиями, не найдется двух человек согласных между собою и богатых, одного деньгами, а другого разумом, обоих любящих славу и ищущих бессмертия, из которых бы один хотел жертвовать двадцать тысяч шалеров. из своего имения, а другой десять лет жизни своей, на преславное странствование вокруг всего света, дабы учиться познать не травы все и камни, но напоследок когда-нибудь

земледелию, спали с неба в руки диких людей, что сии люди преодолели бы ту смертельную ненависть, какую они все к продолжительной работе имеют; чтоб научились они потребное себе предвидеть так далеко; чтобы домыслились как должно орать землю, сеять жито и садить деревья, чтоб нашли они способ молоть хлеб, и квасить виноград, которые вещи все надобно, чтоб показаны им были от небес, по причине невозможности их постигнуть: то как могли бы они всему оному сами собою научиться, какой был бы и после сего человек столь безумный, что бы стал беспокоиться и пахать поле, которое будет пограблено первым пришедшим на оное человеком, или скотом, коему сия жатва понравится? И как может каждый намериться провождать жизнь свою в тяжком труде, от которого он тем вернее не надеется собрать плода, чем более оной ему будет потребен; одним словом, как может сие состояние возбудить людей к земледелию, пока еще земля не разделена между ними, то есть, пока еще состояние природное не уничтожено?

Когда бы мы хотели положить дикого человека, столько искусным в размышлениях, как его представляли нам ваши Философы; когда бы мы, по их примеру сделали его самого Философом, открывающим чрез самого себя превысочайшие истинны, делающим себе, чрез последствие весьма отделенных рассуждений, правила о справедливости и причине выводимые из любви к порядку вообще, или из сведомой ему боли его Творца; одним словом, когда бы мы присвоили его уму столько смысла и просвещения, сколько он иметь должен, и сколько в самой вещи находится в нем, неповоротливости и неосмысленности, какую пользу получил бы весь род изо всей такой метафизики, которая не могла бы другим быть сообщаемая, и погибла бы вместе с вымыслителем своим? Какие успехи мог бы учинить человеческий род, будучи рассеян в лесах между зверей? И до какой степени могли бы довести свое совершенство, и просветить себя взаимно люди, которые не имея твердого жилища и никакой друг к другу надобности, едва ли могли повстречаться два раза во всю

человека и нравы, и которые бы после толь многих веков, употребленных на измерение и рассмотрение дому, вздумали, наконец, пожелать узнать его жителей. // Академики, посланные в Северную часть Европы и в Южную Америку, имели более себе предмет осмотреть оные как геометры, нежели как философы. Между тем как они вдруг были и то и другое, то невозможно почитать совсем неизвестными те страны, которые осмотрены и описаны такими людьми, как были Г. Кондамин и Г. Мопертви. Золотых дел мастер Шардеп, странствовавший так как Платон, ничего не оставил, чтоб не рассказать о Персах; Китай кажется довольно примечен Иезуитами. Кимпфери дает сносное понятие о той малой части Японии, которую он видел. Кроме ж как чрез сии известия мы почти не знаем народов восточной Индии, поелику туда путешествуют такие Европейцы, которые пекутся наполнить более мешки свои нежели головы. Целая Африка, и ее бесчисленные жители, столь отменные по свойству своему как и цветом, остались еще неописанными, весь круг земного шара покрыт народами, которых мы знаем только одни имена, а совсем тем мешаемся рассуждать о человеческом роде! Положим Монтесквю, Буфона, Дидерота, Дюкло, д'Аламберта, Кадиллака, или им подобных людей, путешествующих для научения своих современников, примечающих и описывающих таким образом, как умеют, Турцию, Египет, Барбарю, владение Марокское, Гвинею, Кофрскую землю, внутренность Африки и ее восточные берега, Малабары, Могольскую землю, берега реки Гангеса, королевство Сиамское, Пегу и Дава, Китай, Татарю, Мексику, Перу, Хилию, Магелландские земли, не забывай притом и Патагонов, истинных или ложных, Тюкуман, Парагай, если возможно Бразилию, наконец Караибов, Флориду, и все дикие страны, в которые путешествие есть самое нужнейшее изо всех, и такое, что его должно исполнить с крайним попечением, положим, что сии новые Геркулесы, по возвращении из пугай толь достопамятного, сочинили бы в досужное время Историю Натуральную, Моральную и Политическую обо всем что они видели, то мы сами увидели бы новый свет, вышедший из их пера, и так научились бы знать и собственный наш свет. Я говорю, что когда таковые примечатели утвердят о каком животном, что то человек, а о другом, что то скат, тогда должно поверить им; но весьма неразумно было бы полагаться на невежественных странников, о которых иногда приходит искушение сделать тот самый вопрос, который они решить принимаются в рассуждении других животных.

12 Сие, кажется, совершенно ясно, и я не могу понять, откуда наши Философы могут вывести все те страсти, которые они приписывают человеку естественному. Исключая единую надобность физическую, каковой сама природа требует, все наши другие надобности не от чего таковы суть, как по привычке, прежде которой они не были надобностями, или по нашим желаниям; но того не желают, чего не в состоянии знать. Из чего следует, что как человек дикий не желает кроме вещей ему известных, не зная кроме тех, которых получение в его власти состоит, или которые получить ему нетрудно, то ничто не может быть спокойнее его души, и ничто столь неограниченно, как его разум.

жизнь свою; да и то один другого не зная, и ничего друг другу не говоря?

Надлежит помыслить о том, сколь многими понятиями одолжены мы употреблению слова; сколько грамматика упражняет, и облегчает действия разума, и вспомнить обо всех непостижимых трудах, и о бесконечном времени, коего долженствовало стоить первое изобретение Языков; пускай присоединят сии рассуждения к прежним, и тогда можно будет рассудить, скольким надлежало пройти тысячам веков, для открытия исподволь в, человеческом разуме тех действий, какие он имеет в состоянии.

Да будет мне позволение на несколько рассмотреть замешательства, оказывающиеся в первых происхождении языков. Я мог бы удовольствоваться припамятованием и повторением здесь изысканий Г. Аббата де Кондильяка о сей материи, утверждающие все во всем мое мнение, может быть, они то и подали мне первую мысль о сем, но как способ, которым сей Философ решит те затруднения, кои он сам себе о начале установленных знаков предложил, показывает, что он уже то предполагал, о чем я теперь еще вопрошаю, та есть, некоторый род общества уже установленного между вымыслителями языка. Я мню, что ссылаясь на сии его рассуждения, долженствую присоединить к ним мои собственные, дабы представить те же самые затруднения в такой ясности, какая приличествует к моему содержанию. Первая из оных мне представляющаяся, есть вообразить, как могли языки учиниться нужными: ибо когда люди не имея и никакого между собою сношения, и ниже какой в надобности, то не возможно понять, ни необходимости, ни возможности его, когда оно не было необходимо. Я сказал так как и многие другие, что языки начались в сообщении домашнем между отцов, матерей и детей: но кроме того, что тем не решатся противоположаемые мнения, сие было бы сходно с погрешностью тех, кои рассуждая о состоянии природном, прилагают к оному понятия, взятые из общества, видят всегда семейство, собранное в едином обиталище, и членов оною, сохраняющих между собою союз столь тесный, и столь прочный, как между нами, где толикое число общих нужд людей соединяет; вместо, что как в сем первобытном состоянии, не имея ни домов, ни шалашей, и ни чего собственного ни в каком роде, всякой поселялся где ни попало, и часто на одну только ночь мужской пол и женский общались нечаянно по случайной встрече и вожделению, так что речь им не весьма потребна была к изъяснению того, что они друг другу сказать имели, и столь же легко они и расставались.¹³ Мать кормила детей своих грудью

13 Я нахожу в правлении гражданском Локовом некоторое возражение, которое кажется мне столько знатно, что не можно мне его скрыть. «Понеже конец сообщества между мужским полом и женским, – говорит сей философ, – не в том едином, чтоб родить, но чтоб продолжать род, то сие сообщество долженствует продолжаться также и после рождения, по меньшей мере до тех пор, как то нужно для пропитания и сохранения рожденных, то есть, до тех пор, как уже они в состоянии будут сами себя снабжать в надобностях своих». Сие правило, которое бесконечная премудрость Создателя устроила над трудами рук своих, видим мы, что и твари, низшие человеку, хранят постоянно и точно. В животных, питающихся травой, сообщество между мужским полом и женским не далее продолжается, как самое действие их совокупления для того, что как сосцы материны довольны к напитунию рожденных до самых тех пор, как они придут в состояние щипать траву, то самец довольствуется только зарождасть, и не вступает после того ни в самку, ни в детей, к пропитанию которых он не может ничем вспомоществовать. Но в рассуждении животных, добычею питающихся оно сообщество продолжается гораздо долее, по причине, что мать, не имея возможности довольно снабдишь себя собственно пищей, и продовольствовать в то ж время детей своих единою своею добычею, которое средство насыщаться есть гораздо труднее и опаснее, нежели питать себя былиям, то помощь самца совсем необходима к содержанию общего их семейства, если так назвать можно, которое до тех пор, как будет в состоянии искать для себя добычи, не может иначе пробавляться, как чрез попечение самца и самки общее. То же примечается и во всех птицах, исключая только некоторых живущих в домах, понеже они находятся в таких местах, где беспрестанное изобилие пищи освобождает самца от попечения питать птенцов своих; ибо усматривается и то в продолжение того времени, как птенцы, находятся в гнездах своих, имеют надобность в пище, самец и самка равно приносят им оную до тех пор, как они в состоянии будут летать и продовольствовать сами себя съедением. // А в сем, по моему мнению, состоит главнейшая, если она не единая причина, для чего мужской пол и женский в роде человеческом обязаны к сообществу должайшему, нежели какое имеют прочие твари. Сия причина есть та, что женщина в состоянии зачать, и обыкновенно бывает опять во чреве, и родить еще младенца, гораздо за долго до того, чтоб прежней был в состоянии обойтись без помощи родителей своих, и продовольствоваться сам собою в надобностях своих. Таким образом, отец будучи обязан иметь попечение о рожденных им, гораздо долговременно также принужден продолжать сожитие брачное с одной супругой, от

сперва для собственной своей надобности; потом как привычка учинила ей оных милыми, она то делала уже для их, а коль скоро становились они в состоянии сами сыскивать себе пищу; то, не замедлив, они оставляли мать свою; и как почти не было другого средства им находить друг друга, разве чтоб не терять одному другого из виду, то скоро доходили они до того, что уже меж собою не узнавались. Примечайте еще, что младенец имея нужду обо всем потребном для него истолковать, и, следовательно, более предметов сказать матери, нежели мать младенцу: то он должен бы составить большую часть сего вымысла, и что язык, какой мы употребляем наибольшей частью должен быть его собственным изобретением; от чего столько множится языков, сколько будет людей, которые ими говорить станут; чему споспешествует еще жизнь бродящая, которая не дает никакому наречию времени утвердиться: ибо ежели сказать, что мать научает младенца выговаривать слова, которыми он

которой он сих первых имел, и жить совокупно в сем сожитии много долговременнее пред всеми прочими тварями, коих птенцы имеют возможность питаться сами собою прежде, нежели новое рождение последует. Итак, союз между самца и самки прерывается сам собою; оба они находятся в совершенной вольности доколе то время года, которое обыкновенно производит в животных вождление совокупиться, принудит их избрать новых супружников, а в сем не можно довольно надивиться премудрости Создавшего, который даровав человеку качества способные снабжать себя столько же на будущее как и на настоящее время, восхотел и учредил так, что сожитие человеческое продолжается гораздо долее, нежели союз обоих родов в прочих тварях, дабы чрез сие искусство мужа и жены было паче возбуждаемо, и польза их была бы лучше соединена в том виде, чтоб запастись для младенцев, и оставить им стяжание, поелику ни что не может быть того предосудительнее для детей как союз неизвестной и неутвержденной, или весьма легкое и частое разрешение сообщества супружеского. // Любовь к истине, которая меня привела предложить сие прекословие, побуждает меня приобщить к оному некоторые примечания, если не для решения оного, то, по крайней мере, для объявления. // 1. Во-первых, я примечу, что доводы нравоучительные не великую имеют силу в предложений физическом, и что они более служат к объявлению причины действий существующих, нежели к утверждению бытия оных действ. Но таковой есть род доказательств употребленного господином Лаком в том месте, которое я пред сим приложил; ибо, хотя то может быть выгодно роду человеческому, чтоб соединение мужа и жены было всегда пребывающее, но из сего не следует, якобы то так и было устроено природою, а иначе надлежало бы сказать, что она также установила в обществе гражданском художества, торговлю и все, что полагают быть полезным для человека. // 2. Я не ведаю, где Г. Лок нашел, что между животными, питающимися от добычи, сожитие самца и самки продолжается долее, нежели между теми, кои питаются былием, и что они друг другу помогают питать детей своих: ибо не видно того, чтоб пес, кот, медведь или волк, узнавал самку свою лучше нежели конь, баран, бык, олень, или все четвероногие узнают самок своих. Кажется напротив того, что если помощь самца была бы нужна самке к сохранению детей ее, то было бы особливо в таких родах, которые питаются травою для того, что требуется матери к насыщению долгое время, а во все продолжение оного, принуждена она оставлять своих детей, вместо что добыча медведицы или волчихи пожирается в одно мгновение, и она не претерпевая голода, больше имеет времени для напитания детей своих. Сие рассуждение подтверждается примечанием о числе сосцов, и детей в один раз рождающихся. Чем роды плотоядных, и плодами питающихся животных различаются. Не более основания находится и в том, что тоже самое разделение приложено к птицам: ибо кто может увериться, чтоб сообщение между обоих полов было продолжительнее, нежели у коршунов и воронов? Мы имеем два рода домашних птиц, утку и голубя, которые нам подают пример совсем противной системе сего писателя. Голубь, питающейся только зерном, остается с самкой своею, и питает обще своих птенцов, и селезень, которого жадность известна, не знает ни самки и птенцов, и не помогает им ни чем в пище их; также в курицах, который род не менее утки алчен, не видно никогда, чтобы петух заботился о цыплятах. Если в других родах самец разделяет с самкой попечение питать птенцов, то сие для того, что птицы, кои вскоре летать не могут, и коих мать не может питать млеком, гораздо меньше в состоянии обойтись без вспоможения отца, нежели четвероногие, которые довольно сосца матери, по крайней мере, на несколько времени. // 3. Есть много неизвестности о самом главном деле, которое служит основанием всему рассуждению Г. Лока: ибо, чтобы знать, бывает ли обыкновенно в природном состоянии, как он мнит, женщина опять чревата, и приносит ли нового младенца гораздо долго пред тем, как прежней может снабжать сам себя в надобностях, требуется иметь опыты, которых всеконечно Г. Лой не имел, и которых никто не может иметь. Всегдашнее сожитие мужа и жены есть случай столь близкой подвергнуть себя новой беременности, что весьма трудно подумать, чтобы повстречание случайное, или единое только побуждение телесное производило действия столь частые в сущем природном состоянии, как в обществе брачном: которая медленность, может быть, способствовала бы иметь детей гораздо сильнейших, и сверх того могла бы награждена быть способностью зачатия в чреве, продолжаемою на должавшие лета у жен, поелику бы они тем менее употребляли оной в младости. В рассуждении детей есть многие причины думать, что их силы и органы открываются гораздо позже у нас, нежели то бывало в состоянии природном, о котором я говорю. Слабость врожденная, которую они приемлют от сложения родительского попечения, какое имеют пеленать и связывать все их члены, нега, в какой они воспитываются, а может быть и употребление чужого молока, но не

должен у нее испрашивать какой-либо вещи, то сие показывает, как учат языкам уже установленным, и не то как оные устанавливались.

Положим, что сия первая трудность побеждена: перейдем на минуту пребезмерное пространство, долженствующее быть между самым природным состоянием, и надобностью в языках; и положи их нужными,¹⁴ будем искать того как могло начаться их установление. Вот новое затруднение гораздо больше прежнего: ибо ежели люди имели надобность в слове, чтоб научиться как думать, то конечно имели они больше нужды уметь мыслить для приобретения словесного искусства: и когда бы можно было разуметь каким образом произношение голоса стало принято за выражение договорное понятий наших, то еще бы и тогда оставалось узнать, какие могли быть выражения сего договора о таких понятиях, которые, не имея предмета чувствительного, не могли быть изъяснены ни телодвижением, ни голосом, так что едва ли возможно вымыслить догадку сносную, каким образом могло родиться сие искусство сообщать между собою мысли, и восстановилось сношение между разумом; искусство превысокое, и столь отдалившееся уже от своего начала, но которое

родильница, все противоборствует и препону делает в них первым приращением природы. Прилежание, которое принуждает их прилагать к премногим вещам, на которые непрестанно устремляют их внимание, не давая между тем никакого упражнения телесным их силам, может еще сделать знатное препятствие в их возрасте, так что, если бы вместо обременения и утруждения тотчас разума их тысячью образами, дали упражняться ее телу их в непрестанном движении, коего кажется от них требует природа, то вероятно, что были бы они гораздо скорее в состоянии ходить, действовать, и запасть себя самих своими надобностями. // Наконец Г. Лок доказывает по самой большей мере, что мужчина может иметь причину, чтоб жить вместе с женою, когда она имеет младенца; но он не доказывает никак, чтобы тот долженствовал к ней привязанность иметь до разрешения ее от бремени в продолжение девяти месяцев ее беременности. Но если женщина сия не нужна человеку чрез все сии девять месяцев, и еще сделалась ему незнакомою, то для чего станет он вспомоществовать после родин? Для чего будет он пособлять ей в воспитании младенца, о котором не знает что он ему принадлежит, которого рождению он ни определял своим рассуждением, ниже предвидел? Г. Лок явным образом полагает то наперед, о чем еще только вопрошается. Ибо не требуя знать, для чего человек остался бы прилеплен к жене после родин ее, но для чего он прилеплен был бы к ней после зачатия бремени. По удовольствовании вожделения, человек уже не имеет никакой надобности в той женщине, ни она в том мужчине, которой не имеет ни малого попечения, и может быть никакого и понятия о следствиях сего своего действия. Один пойдет в сторону, а другая в другую, и кажется нет вида, чтоб чрез девять месяцев воспамятовали они что между собою некогда погнались, ибо сей род памяти, по которому каждый особливо дает преимущество отменное другому, для детородного действия требует, как я в самом сочинении доказал, больше приращения или повреждения в разуме человеческом, нежели сколько можно в нем того полагать в сем единственно животном состоянии, о котором здесь дело идет. И так иная женщина может удовлетворять новые желания мужчины столько способно как и та, которую он уже познал; и иной мужчина также удовлетворит и ту женщину, полагая притом, чтоб она побуждаема была таковым желанием во время своей беременности, о чем не без основания можно сомневаться. Но если ж в состоянии природном женщина не чувствует больше страсти любовной по зачатию младенца, то препона сообществу ее с мужчиной становится еще больше, ибо тогда не имеет она уже надобности ни в том мужчине, Которой ее очреватил, ниже в каком-либо ином: следственно, нет никакой причины искать человеку той же женщины, ни женщине того ж мужчины. И так рассуждения Локовы разрушаются, и вся диалектика сего Философа не избавила его от погрешности, которую Гобесий и другие учинили. Они должны были истолковать действие природного состояния, то есть, такого, в котором люди жили совсем уединенно, и в котором такой то человек не имел ни малой причины жить близ такого то человека, ниже, может быть, все люди, близ таких то людей, что еще хуже, те писатели не вздумали принести себя далее веков общества, то есть, тех времен, в которых люди имеют всегда причину жить совокупно одни с другими, и где такой-то человек имеет часто причину жить возле такого-то мужчины или женщины.

14 Я весьма остерегаться буду вступить в рассуждения философские, которые можно учинить о выгодах и неудобствах сего установления языков; мне непозволительно возражать заблуждения народные, а притом ученое множество столь много почтения имеет к своим предрассудкам, что не может терпеливо снести мнимые мои странные мысли, и так, пускай говорят такие люди, которым не поставляют в преступление что они смеют принимать иногда рассудки против мнений многочисленной толпы. *Nec quidquam felicitate humani generis decederet, si pulfa tot linguarum pefte et confufionem vnam artem callerent mortals, et fignis moti, bus gefitibusque licitum foret quiduis explicare. Nunc vero ita comparatum eft, vt animalium quae vulgo bruta cveduntur, melior longe quam noftra bac in parte videatur condition, vt pote quae promptius et forfan felicius fenfus et cogitations fuas fine interprete fignificent si peregrino vtantur fermone S. Vossivs de poemat. Cant. & viribus Ruthmi, p. 66.*

философы находят еще в таком безмерном расстоянии от совершенства своего, что нет единого толь смелого человека, который бы дерзнул уверять, что может оное когда-нибудь до того дойти, хотя бы все перемены, кои приносит с собою время необходимо были остановлены в его пользу, и все предрассудки были истреблены в Академиях, или бы пред оными умолчали, да и сами Академии могли бы упражняться попечением о сем колком предмете чрез целые века непрерывно.

Первый язык человеческий, наречие самое всеобщее, самое выразительное и единое, которое для человека потребно было прежде, нежели надлежало уговаривать людей, в общество собранных, есть вопль природный. А как сей вопль не иначе был извлекаем, как некоторым родом побуждения в случаях нужды, то есть: для испрошения помощи в великих опасностях, или некоторой отрады в жестоких болезнях, то и не был оно в великом употреблении во обыкновенном течении жизни, где владычествуют чувствования гораздо смиреннейшие. А когда понятия людей начали распространяться и умножаться, и восстановили они уже между собою сообщение гораздо теснее, тогда выискивали они большее число знаков, и наречие пространнейшее, умножили наклонения голоса, и приобщили к тому телодвижения, которые по свойству своему суть гораздо выразительнее, и которых смысл не столько зависит от предыдущего определения. Потому уже предметы, видимые и движущиеся, выражали они телодвижениями, а те, которые касаются слуху, чрез звук и подражательные: но как телодвижения означают предметы только в близости предстоящие, или весьма способные к опасению также действия видимые, кои не во всеобщем употреблении, понеже темнота, или междоположение какого тела, делает оные бесполезными, и требуют сами внимания больше, нежели возбуждают; то вздумали, наконец, заменишь оные применениями голоса, которые, не имея такого отношения к некоторым понятиям, гораздо способнее изображать их все, как знаки установленные, которая замена не могла учинена быть без общего согласия, и довольно трудным образом к приведению в действие такими людьми, коих грубые органы не имели еще никакого упражнения; и еще того труднее к постижениям по себе самом: ибо о сем единомушном согласии должно было предложить и рассуждать, и кажется, что слово весьма было нужно к тому, чтоб установить употребление слова.

Должно рассуждать, что первые людьми употребленные слова имели в их мыслях о значении гораздо пространнее тех, которые употребляются в языках уже учрежденных, что они не ведая разделения речи на ее составляющие части, давали с начала каждому слову смысл целого предложения. Когда ж начали они различать подлежащее от сказуемого, и глагол от имени, к чему требовалось непосредственного усилия разума, то существительные сперва были не иначе как имена собственные, и наклонение неопределенное было одно только известное время в глаголах; что ж касается до прилагательных, то понятие о них долженствовало быть открыто не без великого труда; ибо всякое прилагательное есть слово отделенное, а отделения суть действия трудные и почти неестественные.

С начала каждому предмету дано было имя особенное, не рассуждая ни о родах, ни о видах, которых различить сии первые сочинители не были в состоянии, и всякой предмет представлялся их уму особенно, так как они изображаются природою. Если один дуб назывался А, то другой назывался Б, так что чем более знание было ограничено, тем более лексикон становился пространен. Замешательство всего одного словаря нелегко могло быть отвращено: ибо, для распределения существ под наименования общих родов, надлежало знать все их собственности и различия, надлежало иметь примечания и определения, то есть требовалась История Естественной и Метафизики гораздо более, нежели люди того времени иметь могли.

Сверх того общие идеи не могли вселиться в разум без помощи слов, и разумение не иначе их понимает, как по предложениям. Сия есть одна из тех причин, для чего скоты не могут произвести таковых идей, ниже когда приобрести совершенности от них зависящей. Когда обезьяна бросается от одного ореха к другому, то не думают ли, что имеет она общее понятие о сем роде плодов, и что она первообразное свое понятие о сем сравнивает с сими

двумя разными орехами? Нет без сомнения; но вид одного из сих орехов возобновляет в памяти ее то чувство, какое она имела от другого, а глаза ее получая от того некоторое известное образование, возвещают ее вкусу то чувство, которое она от сего получит. Всякое общее понятие содержится точно в разуме; а если хотя мало воображение вмещается, то понятие тотчас становится особенным. Испытай вообразить себе вид дерева вообще, никогда того не достигнешь, надлежит оно видеть поневоле, маленькое или большое, редкое или густое, светлое или темноватое; а если бы зависело от тебя и чтоб видеть только то, что находится во всяком дереве, то сей образ не будет уже похож на дерево. Так точно существа отделенные видимы бывают, и не можно их понять иначе как по словам. Одно только определение треугольника подает подлинное о нем понятие: как скоро захочешь вообразить его в уме своем, уже то будет такой-то треугольник, а не другой, и не можно без того обойтись, чтоб его линии не сделать чувствительными, или плоскости его не приписать какого цвета. Следственно надлежит произносить предложения, надлежит говорить, дабы иметь понятия всеобщие; ибо, как только воображение остановится, то разуме уже шествует с тою лишь помощью слова. И так, если первые вымыслители не могли имен дать как только тем понятиям, которые они уже имели, то из сего следует, что начальные никогда не могли быть иначе, как собственными именами.

Но когда, чрез средства мне непостижимые, наши новые грамматисты начали распространять свои понятия, и делать свои следа общими, то невежество вымыслителей долженствовало ограничить сей способ учения гораздо тесными пределами, а как они с начала весьма умножили имена особенных вещей, потому что не знали родов и видов, так после сделали мало видов и родов и по недостатку рассуждения о существах по всем их различиям. Чтоб довольно простерт разделения, надлежало иметь больше испытания и просвещения, нежели сколько они иметь могли, и больше искания и труда, нежели сколько они употреблять желали. Но когда и ныне вседневно изобретают новые виды, которые до сего сокрыты были от всех наших примечаний, то пускай рассудит всяк, сколько долженствовало быть оных скрыто от таких людей, которые не иначе судили о вещах, как по первому взгляду? Что принадлежит до первообразных родов и до понятий всеобщих, то излишне и примолвить о том, что оные долженствовали также сокрыты быть от них, например, как могли они вообразить, или уразуметь слова, материя, дух, существо, образ, начертание, движение, понеже и философы наши, употребляющие оные толь долговременно, с великим трудом и сами их понимают, ибо как понятия, придаваемые сим словам, суть метафизические совсем, то они не находили никакого им образца в естестве.

Я остановлюсь на сей первой поступи, и прошу моих судей прекратить здесь чтение свое, дабы по изобретению одних существительных физических, то есть, по той части языка, которую всего легче было изобрести, рассудить, сколько еще пути ему останется для выражения всех человеческих мыслей, для получения твердого вида, чтоб можно им было говорить в народе, и тем иметь силу в обществе; я прошу их рассудить о том, сколько требовалось времени и знания к изобретению чисел,¹⁵ слов отделенных аористов, или

15 Платон показывая сколько понятия о количестве раздельном и о его сношениях нужны и в самых малых художествах, справедливо смеется писателям своего времени, которые утверждали, что Паламед изобрел числа при осаде Троянской, как будто б, говорит сей философ, Агамемнон мог не ведать до того сколько он имел ног? В самом деле чувствуется невозможность, чтоб сообщество и художества дошли до того состояния, в каком они были во время Троянской осады, а люди не имели еще употребления чисел и счёту: но нужда знать числа прежде приобретения других знаний не делает воображения вымысла числе удобнейшим когда имена числе напоследок стали известны, то легко уже изъяснить их смысл и произвести те понятия, которые сии имена представляют: но для изобретения числе надлежало, прежде нежели возможно было, постигнуть сии самые понятия, так сказать, познакомиться с рассуждениями философскими, приучиться рассматривать вещи по их единой существенности, и независимо от всех других усмотрений, которое отделение мыслей есть трудное весьма метафизическое, и гораздо мало естественное, но без которого, однако ж, сии понятия не могли бы никогда пронестись от одного рода к другому, ни числа сделаться всеобщими. Дикий мог рассматривать особливо правую свою ногу и ногу левую, или смотреть на них вдруг при нераздельном понятии их одной пары, никогда не мысля что он имеет две ноги, ибо совсем иное дело есть понятие представляющее, которое нам изображает предмет, а иное понятие числительное, которым предмет определяется, а еще меньше того в

значений неопределенных, и всех времен в глаголах, частиц, сочинениях, связании, в предложениях, в доводах, и к составлению всей логики потребной к человеческой речи. Что до меня касается, ужасаясь от умножающихся трудностей, и удостоверен будучи о невозможности почти доказанной, чтоб языки могли родиться и быть установлены чрез средства просто человеческие; я оставляю тому, кто пожелает предпринять разбор сей трудной задачи; что было нужнее, общество ли уже учрежденное к установлению ЯЗЫКОВ, или языки уже изобретенные к установлению общества?

Но какое бы состояние ни было сих первых начал, по крайней мере видимо, из малого попечения принятого природою, к учинению в людях ближайшего обхождения чрез взаимные их нужды и облегчению употребления слова, сколько она мало приготовила их к сообщению, и сколько мало имела она участия во всем, что ни учиняли в установлении сих союзов. И в самом деле, трудно вообразить для чего бы в сем первобытном состоянии человек возымел скорее надобность в другом человеке, нежели обезьяна или волк в подобном себе, так как и полагая сию надобность, какая бы причина могла обязывать другого оную надобность исполнять; ниже того, как и в сем последнем случае могли они согласиться между собою о договорах. Я знаю, нам твердят непрестанно, что ничего не было бы беднее, как человеку в сем состоянии; и если то правда, как я мню уже и доказал, что он не мог иначе возыметь желания и случая выйти из оногo, как по прошествии весьма многих веков; то сие было бы судиться с природою, а не с тем, кого она таковым образом устроила; но ежели я прямо разумею сию речь явного, то сие слово такое, которое не имеет никакого смысла, или которое не иное значит, как горестное чего-нибудь лишение и страдание тела, или души: и так, желал бы я, чтоб мне истолковали, какой бы роде бедности мог быть существа свободного, которого сердце пребывает в тишине и тело в здравии? Я вопрошаю, которая жизнь, гражданская или естественная, подвержена более учиниться несносной пользующимся оными? Мы не видим почти вокруг себя кроме таких людей, кои жалуются на свое бытие, многие еще есть такие, которые лишают сами себя оногo, сколько от них зависит! так что законы Божеские и человеческие совокупно едва довольны к отвращению сего беспорядка; я вопрошаю, слыхано ли когда, чтоб дикий человек, находящейся в свободе, хотя помыслил жаловаться на жизнь свою, и предать себя смерти? Итак, пускай рассуждают с меньшею гордостью, с которой стороны есть прямая бедность. Напротив того ничего не было бы беднее человека дикого ослепленного просвещением, терзаемого страстями, и рассуждающего о состоянии отменном от его состояния. Сие было определено от премудрейшего Провидения, что все те способности, которые он имел во власти своей, не должныствовали открыться иначе как по случаям в них упражнения, дабы они не были ему излишними, или тягостными прежде времени, ни поздними и бесполезными в надобности. Он имел в едином внутреннем побуждении все, что ему нужно было для жизни в состоянии естественном, и не имеет в разумении исправленном ничего более, как только что ему нужно для жития в обществе.

Во-первых, кажется, что люди в сем состоянии, не имея между собою никакого нравственного сношения, ни должности известной, не могли быть ни добрыми, ни злыми, и не имели ни пороков, ни добродетелей, разве приемля сии слова в смысле физическом, назвать пороками, в каждом порознь, качества могущие вредить собственному сохранению себя, а добродетелями те, которые оному способствовать могут, в котором случае надлежало бы назвать самым добродетельным того, кто наименьше сопротивлялся бы простым побуждением природы. Но не отдаляясь от смысла обыкновенного, надлежит оставить рассуждение какое можем мы иметь о таком состоянии, и опасаться, чтоб не вверится предрассудкам до тех пор, пока мы весы в руках имея, исследуем пороков ли, или

состоянии был он счесть до пяти, и хотя положи одну свою руку на другую, мог он применить, что пальцы обеих соответствовали между собою точно, однако ж, он весьма далек был от того, чтоб помышлял о равенстве их числа. Он не более знал числа перстов своих, как и число своих волос, и если б подав ему разумение что такое есть число, кто-либо ему сказал, что он столько же перстов на ногах, сколько на руках имеет, то может быть, он весьма бы удивился, когда бы по сравнении нашел что та самая правда.

добродетелей более находится в человеках общежителъствующимъ; и больше ли полезны их добродетели, нежели пороки пагубны; также служат ли довольнымъ награждениемъ приращенія ихъ знанія за те оскорбленія, которые они другъ другу причиняютъ взаимно, по мере сколько научаются они того блага, которое надлежало бы имъ между собою творить и или не были ль бы они, рассудивъ обо всемъ, не имея ни отъ кого какъ опасаться зла, такъ и надеяться добра, благополучнее того состоянія, в которомъ они подвержены зависимости всеобщей, и принуждены все поручать отъ техъ, которые ничего не обязываются имъ давать.

Особливо не надлежитъ намъ заключать съ Гобесиемъ, будто бы, по неименію какого-либо понятія о благодѣи, человекъ золъ естественно, будто онъ пороченъ, потому что не знаетъ добродетели, будто отрекается отъ услугъ своимъ собратьямъ считая себя имъ ни чѣмъ необязаннымъ, и будто в силу того права, которое онъ себѣ безъ причины присваиваетъ на вещи ему нужныя, воображаетъ онъ буйно себя единымъ обладателемъ вселенной. Гобесій весьма изрядно усмотрѣлъ недостатокъ всехъ нынѣшнихъ опредѣленій права естественнаго: но следствія, которые онъ выводитъ изъ своего тому опредѣленія, показываютъ, что онъ приемлетъ его не менее в ложномъ разумѣ. Рассуждая по основаніямъ отъ него полагаемымъ, сей сочинитель долженствовалъ бы сказать, что ихъ естественное состояніе есть такое, в которомъ попеченіе о сохраненіи себя отнюдь непредосудительно сохраненію ближняго, то сие состояніе было гораздо способнѣе в тишинѣ, и самое приличное для человѣческаго рода. Но онъ говоритъ точно сему противное для того, что онъ съ попеченіемъ о самосохраненіи дикаго человека нехотѣлъ соединилъ надобность довольствованія множества страстей, которые произошли уже отъ общества, и чрезъ вторыя законы сделались нужными. Злой, вещаетъ онъ, есть младенецъ сильный, остается узнать, подлинно ли дикій человекъ есть сильный младенецъ, и если съ нимъ в томъ и согласиться, что же онъ заключитъ, разве только то, что ежели сей человекъ будучи силенъ, будетъ столько же отъ другихъ зависеть, какъ и слабый, то нѣтъ такой крайности, на которую бы не устремился; онъ не оставилъ бы бить мать свою, если бы она опоздала подать ему требуемаго сосца, задавилъ бы меньшаго брата своего, если бы хотя мало тотъ его потеснилъ, и искоусалъ бы ноги у другаго, которой бы его толкнулъ, или обеспокоилъ; но сии суть два положенія супротивныя в состояніи природномъ, чтобъ быть сильнымъ и быть зависимымъ; человекъ всегда есть слабъ, когда онъ зависитъ, а воленъ, прежде, нежели силенъ. Гобесій того не усмотрѣлъ, что та же причина, которая препятствуетъ дикимъ людямъ употреблять разумъ свой, какъ то утверждаютъ наши юрисконсульты, препятствуетъ имъ в тоже время злоупотреблять ихъ способности, какъ-то онъ самъ утверждаетъ; почему можно сказать, что дикіе люди не злы для того точно, что не ведаютъ они, что есть такое быть добрыми, ибо не откровеніе и обузданіе законовъ, но тишина страстей и неведенія пороковъ, препятствуютъ имъ творить зло: *Tanto plus in illis proficit vitiorum ignoratio, quam in bis cognition virtutis*. Впрочемъ есть еще другое основаніе, котораго Гобесій не приметилъ, и которое дано будучи человеку ко укрощенію в некоторыхъ обстоятельствахъ зверства его самолюбія, или желанія къ сохраненію себя прежде рожденія сея любви,¹⁶ умеряетъ ту ревность, которую онъ имѣетъ о благосостояніи своемъ, врожденнымъ

16 Не должно смѣшивать самолюбіе съ любовью къ самому себѣ, две страсти весьма различныя по своему свойству и по дѣйствію. Любовь къ самому себѣ есть чувствованіе естественное, которое влечетъ всякое животное бдѣть о своемъ собственномъ сохраненіи, и которое управляемо будучи в человекѣ разумомъ, и умеряемо жалостью, производитъ человеколюбіе и добродѣтель. Самолюбіе жъ ни что иное есть, какъ чувствованіе относительное поддельное, родившееся в обществѣ, которое влечетъ каждого человека особливо почитать себя больше и лучше, нежели всехъ другихъ, которое вперяетъ людямъ все то зло, кое они другъ другу взаимно причиняютъ, и которое есть прямой источникъ чести. // По надлежащемъ уразумѣніи сего, я говорю, что в нашемъ первобытномъ состояніи, то есть, в состояніи подлинно естественномъ, самолюбія нѣтъ, ибо какъ каждый человекъ особливо почитаетъ себя самого единымъ такимъ зрителемъ, который бы его примечалъ единымъ только существомъ в свѣтѣ, которое бы принимало в немъ участіе, и единымъ судіею собственныхъ его достоинствъ, то не возможно, чтобъ чувствованіе, имеющее свой источникъ в сравненіяхъ, какихъ онъ дѣлать не в состояніи, могло произрасти в его душѣ. По той же причинѣ, сей человекъ не можетъ имѣть ни ненависти, имъ желанія къ отмщенію, которые страсти не иначе могутъ родиться, какъ отъ мыслей какой-либо полученной обиды; а какъ только презрѣніе, или желаніе повредить, а не самое зло составляетъ обиду-то люди, незнающіе ни ценить себя, ни сравнивать съ другими, могутъ дѣлать многія взаимныя насильства, если имъ изъ того есть какая выгода, но совсемъ другъ друга не обидны. Словомъ сказать, каждый человекъ не взирая почти на подобныхъ себѣ иначе, какъ на животныхъ другаго рода, можетъ похищать добычу у слабого, или уступить свою сильнѣйшему предъ собою, не представляя себѣ

отвращением видеть страждущего себе подобного. Я не думаю, чтоб мне должно было спастись здесь какого-либо противоречия, приписывая человеку единую природную добродетель, которую признать принужден был бы и самой противоборец человеческих добродетелей. Я говорю о жалости, как о расположении пристойном существам толь слабым, и подверженным столь многим болезням как мы; которая добродетель тем паче всеобщая, и тем полезнее человеку, что она предваряет в нем употребления всякого рассуждения, и столь естественная, что и самые скоты подают тому иногда знаки чувствительные. Не говоря о горячности матерей к детям своим, и о пагубах, на которые они поступают для защищения их, примечается повседневно то отвращение, которое имеют и кони попирать ногами живое тело: скот не пройдет без некоторого беспокойства мимо мертвого скота своего рода, есть иные, кои делают оным некоторый род погребения; и печальный рев животных, вводимых в бойницу, возвещает тот ужас в них, каким они поражаются от страшного там зрелища. Можно с удовольствием видеть, коим образом сочинитель басни о пчелах, принужден будучи признать человека за существо жалостливое и чувствительное, в примере им предлагаемом, удалился от хладного и тонкого своего слога, дабы представить вам жалостный образ человека заключенного, который видит вне темницы своей дикого зверя, отторгающего младенца от груди матерей, терзающего кровожадным зубом своим слабые его члены, и разрывающего когтями своими трепещущие внутренности сего младенца, какое ужасное волнение чувствует сей свидетель от такого происшествия, хотя не имеет в нем никакого самоличного участия? Какую тугу претерпевает он при сем виде, не в состоянии будучи подать помощи, ни страдающей отчаянным страхом матери, ни издыхающему младенцу?

Таково есть существенное состояние природы, предваряющей всякое рассуждение: такова есть сила естественной жалости, которую и самые испорченные нравы не могут еще вовсе истребить; ибо мы видим повседневно в наших позорищах смягчающихся и плачущими таких людей о злоключении несчастного, которые если бы сами были на месте тирана, то усугубили бы еще мучение своего неприятеля. Майдевилль чувствовал то прямо, что люди совсем своим нравоучением никогда бы не были иначе, как чудовищами, если бы природа не вселила в них жалость в подкрепление разуму, но он не усмотрел, что из сего единого качества истекают все добродетели общественные, которых людям приписать он не хочет согласиться; и в самом деле, что такое есть великодушие, милосердие, человеколюбие, как не жалость, оказываемая к слабым, к виновным, или ко всему человеческому роду вообще? Когда принять все в рассуждение, то и самое дружество и благосклонность суть прямо произведения постоянной жалости, устремляемой на особенный предмет; ибо желать, чтобы кто-либо не страдал, что есть иное, как желать, чтобы он был благополучен? Но когда бы и подлинно было, будто сожаление есть не иное что, как чувствование поставляющее нас на месте страждущего, чувствование темное, но быстрое в человеке диком, ныне открытое, но слабое в человеке общежительствующем, что же учиняет сия мысль той истине, которую я утверждаю, разве что придает ей силы? И так сожаление будет тем поразительнее, чем более животное, будучи зрителем позорища достойного жалости, соединяет себя с животным страждущим, но весьма ясно, что сие соединение долженствовало быть всеконечно теснее в состоянии естественном, нежели в состоянии просвещенном. От разума рождается уже самолюбие, а рассуждением укрепляется, оно-то клонит человека пещись о самом себе, оно-то отделяет его от всего, что его беспокоит и огорчает; а философия делает человека нечувствительным, чрез нее-то, говорит он себе втайне, узрев страждущего человека, погибай коли хочешь, я нахожусь в безопасности. Одни только бедствия целого общества тревожат сон философский, и совлекают его с одра; можно без наказания зарезать подобного себе под его окном, а он только возложит свои руки на уши себе, и несколько употребит доводов, для воспрепятствования природе в нем волнующейся, чтоб она его не соединила с убиваемым. Человек дикий не имеет сего удивительного таланта, и по недостатку разума и

иного сии хищения, как только естественными происшествиями без наималейшего чувствования буйства, или досады, и без всякой другой страсти, кроме оскорбления или радости о добром или худом успехе.

рассуждения; он всегда следует безрассудно первому чувствованию человеколюбия. При возмущениях народных, и в драках, случающихся на улицах, чернь собирается, а человек разумной отходит прочь, подлость только и торгующие на рынках бабы разнимают бьющихся, и не допускают честных людей между собою резаться.

Таким образом, весьма подлинно то, что сожаление есть чувствование природное, которое умеряя в каждом человеке порознь силу любви к самому себе, споспешествует взаимному соблюдению всего рода. Оно-то побуждает нас без всякого рассуждения на помощь тех, коих мы видим страждущих: оно-то в состоянии естественном имеет место законов, нравов и добродетели с тем преимуществом, что никто в нем не покушается быть послушным его сладчайшему гласу: оно-то отвратит всякого дикого человека сильного похитить что-либо у бессильного младенца, или у немощного старика сведение с трудом им приобретенное, ежели он надежен найти себе инде: оно-то, вместо сего высокого правила, о правосудии произведенном из многих рассуждений, твори ближнему, яже хочешь да творят тебе, внушает следующее другое правило естественной благодати гораздо не столь совершенное, но полезнейшее может быть предложенного пред сим: твори себе добро с наименьшим сколько возможно вредом ближнего твоего; одним словом, в сем то природном чувствовании, а не в доводах тонких, надлежит искать причины тому отвращению, которое всякой человек ощущает от злоторения, и кроме правил воспитания. Хотя может принадлежать Сократу, и ему подобным разумам, приобретать добродетель чрез рассуждение, но давно бы уже рода человеческого не было, если бы его сохранение зависело от рассуждений составляющих оной членов.

При страстях столь мало подвижных, при обуздании толь благополезном, люди, будучи паче грубы, нежели злы, и более рачительны соблюдать себя от зла могущего им приключиться, нежели искушаемы творить оное кому другому, не были подвержены раздорам весьма бедственным; а как они не имели между собою никакого рода сообщения, и следовательно не знали ни тщеславия, ни уважения, ни почтения, ни презорства, то не имели ни малейшего смысла о словах, твое и мое, и никакого подлинного понятия о правосудии; все те насильства, которые случалось им сносить, почитали они за такие оскорбления, кои легко загладить, а не за обиду должную претерпеть наказание, да и не помышляли никогда об отмщении, разве только случалось оное машинально и то может быть мгновенно, как например, собака грызет камень в нее кинутый; то их вражды редко имели бы кровавые следствия, если бы им не были причины гораздо чувствительнейшей, нежели пища; но я вижу одну опаснейшую, о которой мне говорить остается.

Между страстями, коими волнуется сердце человеческое, есть одна пылкая и стремительная, которая делает один пол другому нужным, страсть ужасная, которая отваживает на все опасности, опровергает все препятствия, и в неистовстве своем кажется самую способную истребить человеческий род, которой она сохранить назначена, что стали бы люди, предавшись в корысть сему необузданному и зверскому бешенству без стыда и воздержания, споря вседневно между собою о предмете своей любви ценою своей крови?

Надлежит, во-первых, признаться, что чем более страсти суть стремительны, тем более законы для удержания от них нужны; но кроме того, что неустройства и беззакония повседневно причиняемые в нас сею страстью довольно показывают бессилие законов в рассуждения сего: потребно бы еще исследовать, не родились ли сии неустройства вместе с самыми законами; ибо в сем случае хотя бы оные и в состоянии были их укрощать, то самое меньшее дело было, которого бы от них можно требовать, чтоб они воздержали такое зло, которое без них не существовало.

Начнем мы разделением нравственной части от физической в чувствовании любовном. Физическая часть есть сие общее желание, которое влечет один пол соединиться с другим; нравственная же часть есть то, что решит сие желание, и устремляет его на один предмет исключительно пред другими, или, по крайней мере, придает оному для сего предпочитаемого им предмета гораздо высшую степень действия. И так легко-то видеть можно, что нравственность любви есть чувствование поддельное, родившееся от

обыкновений общества, и прославленное женщинами, с великим искусством и старанием для утверждения их власти, и для учинения повелительным того пола, которой бы долженствовал повиноваться. Сие чувство, будучи основано на некотором разумении о достоинстве, или красоте, которого дикий человек иметь отнюдь не в состоянии, и на сравнениях, которых он делать не может, долженствует для него быть вовсе ничем, ибо, как его разум не мог произвести отделенных понятий о правильности и соразмерности, также и сердце его неспособно иметь чувствования, удивления и любви, которые совсем не приметно рождаются от употребления оных понятий, то следует он единственно побуждению от природы в него вселенному, а не вкусу, которого он приобрести не мог, и для того всякая женщина ему угодна.

Заключаясь только с физической части любви, и будучи только благополучны, чтоб не знать сих преимуществ, которые раздражают чувствование страсти и умножают в ней трудности, люди должны ощущать не столь часто, и не столь живо, горячась естественного побуждения, и, следовательно, иметь между собою распри гораздо реже и не так мучительные. Воображение, причиняющее между нами столько мятежей, вовсе не действует сердцами диких людей, из них каждой ожидает спокойно природного побуждения, попускается на оное безрассудно, и больше со удовольствием, нежели с яростью; а как только надобность его удовольствована, так все и желание погасло.

Таким образом, сия вещь неоспоримая, что любовь сама так равно, как и все прочие страсти приобрели точно от общества сей пылкий жар, который ее столь часто людям делает пагубною: а тем паче смешно представлять диких людей, якобы режущихся между собою для утоления своего скотства, что сие мнение есть совершенно противное испытанию, и что Караибы, народ, который изо всех ныне живущих наименее отделился от состояния природного, суть точно самые спокойные люди в любви, и меньше всех подверженные ревности, хотя они живут под таким жарким климатом, который всегда, кажется, придает сим страстям сильное действие.

Что касается до тех заключений, которые можно выводить во многих родах животных от сражений самцов окровавляющих во всякое время наши скотные дворы, или наполняющих весною леса своим воем, отнимая между собою самок, то должно начать исключением всех тех родов, в которых природа явно устроила в силу каждого к смешению обоих полов отменное сношение против нашего: таким образом, битвы петухов не составляют заключения для рода человеческого. В тех родах, в которых равномерность числа лучше наблюдаема, сии сражения не иную причину имеют, как превеликую редкость в самках, в рассуждении числа самцов, или промежутки времени, в продолжении коих самка постоянно отвергает приближение самца, что сходствует с первою причиною, ибо когда каждая самка не более терпит приближение самца, как только два месяца в году, то в таком случае число самок будет как будто пятью шестыми долями меньше, но ни которой из сих двух случаев не может приложен быть к человеческому роду, в котором число женщин вообще более числа мужчин, и в котором никогда не было примечено ниже между дикими, чтоб женщины имели как в других родах урочное время к сходке. Сверх того, как между многими из сих животных весь род разгорается сим жаром вдруг; то и становится оный час ужасным от общего воспламенения, ярости, неустройства и сражения, каковой час не имеет места в человеческом роде, в котором любовь никогда не бывает по временам, и потому не можно заключить из сражений некоторых животных, для отнятия самок, якобы тоже самое случиться могло и человекам в природном состоянии, а хотя бы и возможно было произвести такое заключение: но как сии разборки не истребляют и прочих родов, то должно полагать по крайней мере, чтобы оно не пагубнее было и для нашего: и весьма вероятно чтобы оно еще меньше причинило разорения, нежели сколько производит в обществе, особливо в тех землях, где нравы еще считаются во что-нибудь, и ревность любовников, так как и мщение мужей, причиняют вседневно поединки и убийства, и еще хуже, где долг вечной верности не к иному чему служил, как только к соделанию прелюбодейств, и где самые законы предписывающие воздержность и честность, распространяют необходимо развращение, и умножают

преждевременные родины.

Заклучим, что шатался в лесах без всякого смысла, бессловесно, без пристанища, без войны и без союзов, безо всякой надобности в себе подобных, как безо всякого желания им причинять вред, и может быть, также безо всякого познания кого-либо из них особливо, человек дикий, будучи подвержен толь немногим страстям, и доволен только самим собою, не имел кроме чувствований и сведения свойственных сему состоянию. Он не чувствовал кроме подлинных своих надобностей, не взирал ни на что другое кроме того, что мнилось ему полезно видеть; и разумение его не более получало приращений, как его кичливость. Если по случаю сделал он какое изобретение, то он тем менее мог оное сообщить кому, что не знал и самых своих детей. Искусство пропадало вместе с вымыслителем, они не имели ни воспитания, ни приращений, поколение умножались бесполезно; и как каждой вседневно, так сказать от одной и той же, сам точки в путь пускался, то века протекали во всей грубости первых лет, так что целой род уже был древен, а человек оставался всегда младенцем.

Я распространил столь долговременно свое рассуждение о положении сего первобытного состояния, для того что имея надобность древние заблуждения и вкоренившиеся предрассудки истребить, почел я за долг ископать оное до корня, и показать в картине прямого природного состояния, сколько и самое естественное неравенство далеко от того, чтоб иметь в сем состоянии столько вещественности и действия, как утверждают наши Писатели.

И в самой вещи легко усмотреть можно, что кроме различностей разделяющих человека, многие другие почитаются за естественные, которые суть единственно причина навыка и разных родов жизни, каковы люди приемлют в обществе. Таким образом, телосложение твердое или нежное, сила или слабость от него зависящие, приходят часто более от грубого или изнеженного способа, каковым кто был воспитан, нежели от первобытного сложения тел. Сие же самое следует и о силах разума; воспитание не только полагает разность между разумами, обученными и необученными, но еще усугубляет оную всегда и между первыми, по мере их обучения, ибо пускай когда великан и карла идут по одному пути, каждой шаг ими сделанной будет давать новое преимущество первому, но если сравнить различие пребезмерное воспитаний и разных родов жизни, каковое владычествует в разных силах состояния гражданского, с простотой и единообразием жизни скотской и дикой, в которой все питаются одною пищею, живут одинаковым образом, и творят точно одинокие дела. Тогда каждый поймет, сколько различие между людьми долженствует быть менее в состоянии природном, нежели в общественном, и сколько неравенству естественному должно усугубляться в виде человеческом по неравенству установления.

Но хотя бы природа в раздаянии своих даров употребила столько предпочтений, как некоторые утверждают, то какую выгоду самые наиболее одаренные пред прочими восприяли бы к предосуждению других в таком состоянии вещей, которое не допускало бы их ни до какого рода сношения? Где нет любви, к чему там служит красота? Что будет в разуме таким людям, которые не говорят, и в хитрости тем, которые не имеют дел? Я слышу всегда твердят, что сильные притеснят слабых: но пускай мне изъяснят, что такое значит сие слово притеснение. Одни будут повелевать с насильством, а другие станут воздыхать будучи подвержены всякому своенравию; сие-то примечаю я между нами, но не вижу как можно бы оное сказать о диких людях, которым крайне бы трудно было и растолковать что есть такое рабство и обладание. Человек может завладеть плодами, которые собрал, другой отнять дичь, которую не он убил, и пещеру, которая иному служила убежищем, но как может он дойти до того, чтобы заставить другого себе повиноваться, и какие могут быть узы зависимости между людьми ни чем не обладающими; если меня сгонит кто с одного дерева, то только перейду на другое, если меня беспокоят на одном месте, то кто воспрепятствует мне перейти куда. Если же найдется человек толикой превосходной силы против меня и еще столь развратный, столь ленивый, и столь свирепый, чтобы меня принудить трудиться о его пропитании, и так чтобы он сам между тем пребывал в праздности, то надобно, чтобы он бдел беспрестанно, дабы не потерять меня ни на единый миг из виду своего, чтобы он держал меня связанного с крайним

попечением во время своего сна, в той опасности, чтобы я от него не ушел, или бы его не убил, то есть, он должен подвергать себя самовольно труду гораздо большему против того, которого он хотел бы избежать сам, и того, которой бы он мне причинял. Сверх всего того, если бдение его на единое мгновение ослабеет, если какой шум нечаянный заставит его отвратить голову то я сделаю шагов двадцать в лесу, оковы мои уже расторгнуты и он не увидит меня во век.

Не продолжая бесполезно сих подробностей; каждый должен видеть, что как узы рабства не от иного чего произошли, как от взаимной между людьми зависимости, и от взаимных нужд, которые их соединяют, то не возможно поработить человека, не доведя его прежде в таксе состояние, в котором бы он не мог обойтись без другого, но как сего обстоятельства не может быть в состоянии природном, то остается каждой свободным от ига, и закон сильнейшего становится тщетным.

По доказательстве того, что неравенство едва чувствительно в состоянии природном, и что действие оно там почти ничего незначашее; остается мне показать начало и приращение оно в последовательных открытиях человеческого ума, показав, что совершенство добродетели общественные и прочие способности, которые человек естественной получил в возможности, никогда не могли быть открыты сами собою, что они для сего имели надобность в случайном стечении многих посторонних причин, которые могли и вовсе не произойти, и без которых он жил бы вечно в первобытном своем состоянии, остается мне рассмотреть и сообразить те различные случайности, которые могли привести в совершенство человеческий разум испортив целый род, и превратить его существо злое, учиня его общественным и от начала столь отдаленного, наконец, привести человека и весь свет к такой степени, на которой мы его теперь видим.

Я признаюсь, что как происшествий, о которых я описывать имею, могли случиться многоразличными образом, то не могу я решиться в выборе их иначе, как по одним только догадкам, но кроме что сии догадки становятся доказательствами, когда они будут самые вероятнейшие из тех, которые бы можно произвести из естества вещей, и единственные, кои возможно иметь для открытия истинны, то следствия, какие намерен я вывести из моих доказательств, не будут уже догаданные; ибо на основаниях пред сим много положенных не можно составить никакой другой системы, которая бы мне не подала точно таких же производств, и из которой бы я не мог сделать тех же заключений.

Сие освободит меня от распространения моих рассуждений о том, каким образом долговечность времени награждает недостаток правдоподобия в происшествиях; об удивительной силе причин весьма легких, когда они действуют безостановочно; о невозможности, находящейся с одной стороны, разрушить некоторые произвольные положения, когда с другой мы не в состоянии дать им такую степень известности, какую действительные происшествия о том имеют и что когда два происшествия даны будут за действительные, с тем их связать чрез последствие действий промежуточных, неизвестных, или за таковые принимаемых: то уже принадлежит Истории, ежели только она есть, снабжать оными связующими действиями; а философии в неимении Истории, определить дела тем подобные, которые бы могли их связывать, и напоследок о том, что в рассуждении происшествий, уподобление приводит оные гораздо в меньшее число разных родов, нежели о том воображают, и так для меня довольно представить сии предметы на рассмотрение моих судей, довольно сделать так, дабы читатели простонародные не имели нужды их рассматривать.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Первый, который оградив несколько земли, вздумал сказать, сие принадлежит мне, и нашел людей только простых, кои тому поверили, был подлинный основатель гражданского общества. Коликих беззаконий, убийств и браней, коликих бедствий и ужасностей, отвратил бы от человеческого рода тот, который бы вырвав колья, или засыпав ров, возгласил всем

подобным себе, хранитесь, послушаться сего обманщика, пагуба вам последует, если вы забудете, что плоды суть для всех, а земля не принадлежит никому! Но весьма вероятно, что тогда дела дошли уже до такой степени, что не могли далее остаться в том состоянии, в котором находились, ибо как понятие о собственности, зависящее от многих преследующих, не иначе происшедших как с продолжением времени, не могло вообразиться вдруг в человеческом разуме, то надлежало прежде сделать многие приращения, приобрести довольно искусства и просвещения, и оное предать и умножить от рода в род, прежде достижения к сему последнему пределу природного состояния. И так возьмем сии дела гораздо выше, и потщимся собрать под единое обозрение вида сие медлительное последование событий и знаний в их самоестественном порядке.

Первое чувствование в человеке было о своем существовании и первое его попечение о соблюдении себя. Произращения земные снабжали его всеми нужными способами, а внутреннее его побуждение заставляло его употреблять их. Глад и другие вожделения дали ему ощутить один по одному различные образы существования, один из сих пригласил его к продолжению своего рода, а сия слепая склонность, лишенная всякого чувствования сердечного, не иное что производила, как только действие суще скотское или животное. Когда же надобность была удовлетворена, так оба пола не узнавались более, а и сам младенец ничто был для своей матери, как скоро мог он без нее обойтись.

Таково было состояние человека рождающегося, такова была жизнь животного заключённого сперва в пределах единых только ощущений, и едва пользующегося дарами, которые ему природа предлагала, а весьма отдаленного от того, чтобы помышлять как отнять у нее что-нибудь силою. Но скоро представились затруднения, и надобно стало учиться как оные преодолевать, высота древ, препятствующая досязать до плодов, спор животных, ищущих оными напитаться, зверство тех, которые устремлялись и на собственную его жизнь, все принуждало его прилагать рачение об упражнениях телесных, требовалось учинить себя проворным и скорым в бегстве, и сильным в сражении. Естественные оружия, как то сучья и камни, скоро нашлись под руками его. Он научался преодолевать препятствия естественные, побеждать прочих животных, споровать о сведении своем и с самыми людьми, или заменять себе зато, что принужденным он себя находил уступать против себя сильнейшему.

По мере как человеческий род распространялся, заботы умножались вместе с человеками различие в состоянии и положении земель, перемены времен в году, могли их принудить чтоб они и способ своей жизни отменяли. Бесплодные годы, продолжительные и холодные зимы, жаркие лета, поджигающие все, требовали от них нового досужества. При морях и реках вымыслили они уду, и сделались рыболовами и ихтиофагами, то есть: рыбоснедателями. В лесах поделали они луки и стрелы, и стали охотниками и воинами, в хладных странах покрывались они кожами тех зверей, которых они побивали: гром, или огнедышащая гора, или какой ни есть счастливый случай, дал им узнать огонь, новый способ против жестокого зимнего морозу, научились они сохранять сию стихию, и производить оную, а наконец на ней приготавливать себе мясо, которое до того пожирали они сырое.

Такое часто употребляемое приложение разных вещей к себе самому, и потом одних ко другим между ими, должноствовало естественно произвести в разуме человеческом примечание о некоторых сношениях. Сии сношения, которые мы выражаем словами, великого, малого, сильного, слабого, скорого, медлительного, боязливого, смелого, и другие подобные понятия, по надобностям им сравниваемые. И почти бессмысленно, произвели наконец в нем некоторый рол рассуждения, или лучше сказать, разум машинальный, который ему показывал предосторожности самые нужнейшие для его безопасности.

Новые просвещения, выводимые из сих открытий, умножали его превосходство пред прочими животными, которые он и уразумел. Он приучился расставлять на них тенета; обманывал их тысячью разными образами; и хотя многие его превосходили силою в сражении, или скоростью в бегстве; однако он над теми самыми, которые могли его вредить, или могли служить ему, сделался со временем бичом первых и господином последних. Таким то образом первый взор возведенный на самого себя, произвел в нем первое действие

гордости; таким-то образом он едва зная различать чины, и ставя себя в первых по целому своему роду, приуготавливался издалека требовать того первенства и по своей особе.

Хотя подобные ему не были для него таковыми, какими суть для нас нам подобные, и он почти не более имел сообщения с ними, как и с прочими животными, однако они не были забвенны в его примечаниях. Сходства, которые он по времени между ними, между собою и супружницею своею усмотреть мог, заставляли его рассуждать и о тех сходствах, которых он не видал; а усмотрев что все они вели себя так точно, как бы он учинил и сам при таковых обстоятельствах, заключил он, что способе их жизни, мыслей и чувствований, был совершенно сходен с его способом, и сия важная истинна глубоко вкореняясь в его разуме, довела его по некоему предчувствию столь же достоверному, не гораздо скорейшему как диалектика, следовать наилучшим правилам в своем поведении, которое для выгоды и безопасности своей приличествовало ему иметь с оными.

Научившись по опытам, что любовь к благосостоянию есть единственное движущее действ человеческих, нашел он себя в состоянии различать редкие те случаи, в которых общая польза долженствовала заставить, чтоб он положился на вспоможение себе подобных, и еще реже тех другие, в которых желание многим к одному предмету простирающееся долженствовало его принудить, чтоб он им не доверялся. В первом случае, он соединился с ними в стадо, или, по крайней мере, некоторым вольным сообществом, которое никого не обязывало, и не долее продолжалось, как та мимоходящая нужда, которая оное составила. Во втором же случае, каждый искал приобрести свои выгоды, или открытою силою, если он мнил иметь к тому возможность, или искусством и тонкостью, если чувствовал себя против других слабее.

Сим-то образом люди могли приобрести себе нечувствительно некоторое грубое понятие об обязательствах взаимных, и о пользе происходящей от исполнения оных, но столько лишь колико мог востребовать настоящей и чувствительной прибыток; ибо, предвидение было для них ничто; и не только чтобы пещись о будущем отдаленном, они не помышляли и о завтрашнем. Когда потребно было им поймать оленя, каждый знал верно для того хранить место свое; но если бы заяц пробежал по близости кого-нибудь из них, то нет сомнения, чтобы он не бросился за ним без всяких мыслей, и что достигнув своей добычи, весьма бы мало помнил, что чрез сие лишит он своих товарищей их добычи.

Легко разуместь можно, что такое сообщение не требовало языка гораздо обширнее тех, какие имеют вороны, или обезьяны, собирающиеся стадами почти таким же образом. Крик без ясного произношения, множества телодвижений, и некоторые подражательные шумения долженствовали составлять чрез долгое время всеобщий язык; к чему прилагая во всякой стране несколько звуков яснее произносимых, и по согласию принятых, которых, как уже я сказал, установление истолковать гораздо не легко, стали они иметь языки всякой особливо. Но грубые, несовершенные, и почти такие, какие ныне многие дикие народы имеют. Я пробегая как молния множество веков, принужден будучи к тому течением времени, изобилием вещей, о которых я говорить имею, и приращениями в началах почти нечувствительными; ибо, чем более происшествия были медленны, тем скорее их описывать.

Сии первые приращения подали, наконец, человеку способы делать гораздо тех быстрейшие, и чем более разум просвещался, тем паче искусство доходило до своего совершенства. Скоро перестав засыпать под каждым деревом, или уходить в пещеры, нашли они некоторый род секиры из камней крепких и резких, которые служили им на подсечение дерев, на ископание земли, и к сооружению шалашей из сучьев, кои потом вздумали обмазывать грязью и глиною. И сия-то была эпоха или зачатие первой перемены, в которой произошло установление и разделение семейств, и в которой вошел никакой род собственности, из чего, может быть, произошли уже многие свары и сражения. Между тем, как сильнейшие вероятным образом были первые, кои устроили себе жительства, чувствуя себя в состоянии защищать оные, то думать надобно, что слабые за лучшее и безопаснейшее почли подражать им, нежели покушаться изгонять их из жительства, а что принадлежит до тех, которые имели уже шалаша, то чаятельно, что каждый из них мало думал присвоить

шалаш соседа своего, не столько для того, что оный ему не принадлежал, сколько ради того, что он был ему бесполезен, и что он не мог им завладеть не подвергнув себя сражению весьма жестокому с тем семейством, которое занимал оный. Первые откровения сердца были действием нового состояния, соединяющего в общее жилище супругов, родителей и детей; привычка жить вместе произвела в них самые приятнейшие чувствования, какие только известны человекам, то есть, любовь супружескую и любовь родительскую. Каждое семейство учинилось маленьким обществом, тем паче соединенным, что взаимное прилепление и вольность были оною единственными узами, и тогда-то установилось первое различие в образе жизни между обоих полов, которые до того имели оной одинаковой. Женщины стали домоседнее, и приучились потому быть стражами хижин своих и детей, между тем как мужчина ходил искать общей пищи. Оба пола начали также чрез жизнь несколько нежнейшую против прежней терять нечто из своего свирепства и храбрости, но если каждый особливо стал не столько способен побеждать диких зверей, то в возмездие стало гораздо свободнее собираться для сопротивления оных вообще.

В сем новом состоянии при жизни простой и уединенной, при надобностях весьма ограниченных, и с орудиями, которые вымыслили для прокормления себя, люди, пользуясь весьма великим досугом, употребили оной к примышлению себе разных новых выгодностей, родителям их неизвестных, и сие-то было первое иго, которое они на себя наложили неумышленно, и первый источник тех горестей, которые они приготавливали своим потомкам: ибо, кроме того, что продолжали они таковым образом ослаблять души свои и тела, сии выгоды потеряли по привычке почти все свое услаждение, и в то самое время переродились в подлинные надобности. Лишение оных стало гораздо мучительнее, нежели обладание их было сладостно, и так люди стали несчастливими теряя их, не будучи счастливыми в обладании оных.

Здесь видимо несколько лучше то, как употребление слова установлялось, или доходило до совершенства нечувствительно в недрах каждого семейства; и можно еще догадываться, как могли разные особенные причины распространить язык и ускорить его приращением, учинив оный гораздо нужнейшим. Великие наводнения, или трясения земли, окружили когда-нибудь водами, или стремнинами, места обитаемые; перемены земного шара отделили и рассекли па части, то есть, на острова, матерую землю. Вразумительно, что между людьми, таким образом, сближенными, и принужденными ж ишь совокупно, скорее должноствовало установиться наречие общее, нежели между теми, которые вольно бродили в лесах на матерой земле. Таким образом, весьма то возможно, что после первых опытов мореплавания островские жители принесли к нам употребление слова, а по меньшей мере, весьма то вероятно, что общества и языки получили начало свое в островах, и дошли до некоторого совершенства, прежде нежели стали известны на матерой земле.

Все начинает переменять свой вид, люди бродящие до того в лесах, приняв пребывание более утвержденное, сближаются мешкотно, соединяются в различные толпы и составляют наконец во всякой стране особый народ, соединенный нравами и свойствами, не по учреждениям и законам, но по од низкому образу жизни, одинаковой пищи, и по общему действию климата. Всегдашнее соседство не преминуло наконец произвести некоторое связание между разными семействами. Молодые люди обоих полов обитают соседственно в хижинах, и от кратковременного сообщения, коего требует природа, произошло потом иное не меньше того приятное, но гораздо прочнейшее чрез всегдашнее обхождение. Приучаются рассматривать разные предметы, и делать сравнения, приобретают нечувствительно понятия о достоинствах и красоте, которые производят чувствования преимущественные. Частое свидание стало причиною, что наконец без свидания и обойтись не можно было. Никакое чувствование нежное и приятное вселяется в души, и от малейшего сопротивления становится стремительным неистовством, ревность возбуждается вместе с любовью, несогласие торжествует, и самой приятнейшей из всех страсти в жертву приносится кровь человеческая.

По мере как понятия и чувствования одни за другими следуют, разум и сердце

упражняется, род человеческий от часу более укрощаемым становится, обязанности оно распространяются, и союзы становятся ближайшими. Привыкают собираться пред шалашами, или вокруг какого дерева, пение и пляски, истинные чада любви и праздности, учинились забавою, или лучше сказать, упражнением как мужей, так и жен праздных и в толпы собранных. Каждый начал рассматривать других и желал быть от них примечаем; и почтение общее возымело цену. Кто лучше плясал, или пел, кто был пригожее, сильнее, проворнее, или велеречивее, тот больше был уважаем; и сей-то был первый шаг к неравенству, а в тоже самое время и к пороку. От сих первых преимуществ родились уже с одной стороны тщеславие и презрение, а с другой стыд и зависть; а закваса, причиняемая от сих новых дрожжей, произвела, наконец, составы, пагубные благополучию и невинности.

Как скоро люди начали ценить себя взаимно, и понятие об уважении основалось в их разуме; так всякой мнил к тому иметь право, и невозможно уже стало ни пред кем в том погрешить без наказания. Оттуда произошли первые должности к вежливости, даже и между диких; и от того-то всякая с произволением сделанная вина стала быть обидою, потому что вместе с озлоблением, происходящим от обиды, обиженной находил в нем еще и презрение к своей особе, которое часто бывает несноснее самого озлобления. Таким образом, когда каждый наказывал за оказанное ему презрение, по мере того как сам себя почитал, то мщениа стали ужасными, а люди кровожадными и мучителями. Вот точно та степень, до которой дошли большая часть диких людей, кои нам известны. А то произошло от недовольного различия идей, и от непримечания сколько сии народы были уже далеко от природного состояния, что многие поспешно заключили, якобы люди естественно суть мучители, и что потребно градоначальное учреждение для его укрощения, между тем как нет ничего короче человека в первобытном его состоянии, когда он, будучи помещен природою в равном расстоянии как от несмышлености скотов, так и от пагубного просвещения человека гражданского, и ограничен равно побуждением и рассудком сохранять себя от устрашающего зла, природною жалостью удерживается творить зло кому-либо, не будучи к тому привлекаем ни чем, хотя бы и сам оно от другого претерпел. Ибо по основанию мудрого Локка, не может там быть, обиды, где собственности нет.

Но должно примечать, что начавшееся общество, и сношения между людьми установленные, требовали качеств отличных от тех, которые они имели в первоначальном своем установлении, что когда нравственность начала входить в действия человеческие, и как прежде законов каждый был единым судиею и мстителем обид им претерпеваемых, то доброта, приличная существу естественному состоянию, не приличествовала уже рождающемуся обществу что надлежало наказаниям сделаться гораздо строжайшим, по мере как случаи к обиде стали учащать, и что страх наказаний должен был заступать место обуздания законов. Таким образом, хотя люди стали не столь уже терпеливы, и естественная жалость почувствовала некоторую перемену; но сей период открытия человеческих способностей, составляя точную средину между беспечности состояния первобытного и наглой силы нашего самолюбия, долженствовал быть самою счастливейшею и продолжительнейшею эпохою. Чем больше рассуждать будешь о сем, тем более увидишь, что сие состояние было наименьше подверженное переменам, и наимолезнейшее для человека,¹⁷

17 Весьма достойно сие примечания, что от толь многих лет Европейцы трудятся и мучатся, чтоб диких людей, разных стране света, привести к своему способу жизни, но ни одного еще до сих пор не могли к тому привести, ниже помощью самого Христианства: ибо наши законопроповедатели делают там иногда Христиан, но никогда не делают людей гражданских. Ничто не может преодолеть непобедимое отвращение, которое они имеют к принятию наших нравов, и чтоб жить по нашему обычаю. Если сии бедные дикие суть столь ненастны, как они говорят, то по какому непостижимому повреждению разума непременно отрицаются они просветиться по нашему подражанию, или научиться жить счастливо между нами; между тем как в премногих книгах мы читаем, что французы и другие европейцы убегали добровольно к тем народам, и провождали там всю свою жизнь, не похотев уже оставить столь странного обычая жизни, также находятся и законопроповедатели разумные, которые с умягчением сердечным жалеют о тех тихих и беспорочных днях, которые они провождали у сих народов, толь нами презренных? Если ответствовать мне будут, что не имеют они довольного просвещения, дабы рассудить здраво о своем состоянии, и о нашем, то я на сие опять скажу, что оцениение благополучия не столько есть дело разума как чувствования. А притом сей ответ может обращен быть против

и что не долженствовало ему из того выйти, разве чрез некоторый пагубный случай, которому для общей пользы надлежало бы не быть никогда. Пример диких, кои почти все найдены на сей степени, кажется, утверждает, что род человеческий сотворен дабы остаться ему всегда таковым, что сие состояние есть подлинная младость света, и что все дальнейшие приращения имели только вид приближения к совершенству каждого во особенности, а в самом деле были приближением к глубочайшей старости целого рода.

Доколе люди довольствовались своими поселянскими хижинами, доколе ограничивались они тем, чтобы сшивать одежду себе из кож терновником и рыбными костями, украшаться перьями и раковинами, малевать тело свое разнovidными красками, доводишь в совершенство или украшать свои луки и стрелы, делать острыми камнями некоторые челночки рыболовные, или некоторые грубые орудия к музыке, словом, доколе прилежали они только к таким трудам, которые каждый мог исправлять один, и к художествам, которые не требовали многих рук, дотолле жили они вольны, здоровы, благодетельны и счастливы, столько как могли таковы быть по природе своей, и продолжали пользоваться между собою приятностью сообщения независимого: но с того часа, как человек возымел надобность в помощи другого; как только приметили, что полезно одному иметь запасов против двух, то равенство скрылось, и ввелась собственность, стал труд

нас еще с высшею силою; ибо расстояние от наших понятий до того расположения разума, в каком надлежит быть для постижения вкуса, какой находят дикие люди в своем способе жизни, есть далее, нежели от понятия диких людей до тех понятий же, кои могут им дать постигнуть наше житие. И в самом деле, по нескольких примечаниях, легко им можно видеть, что все наши труды направляются на два только предмета, именно: чтоб иметь для себя способности в жизни, и уважения у других, но какое средство нам есть вообразить тот род увеселения, которое дикий человек находит в том, чтоб препровождать жизнь свою одному посреди лесов, или в рыбной ловле, или свистать в худую дудку, не умея никогда сделать ею надлежащий тон, и не печась отнюдь чтоб и научиться тому? // Несколько раз привозили диких людей в Париж, в Лондон и в другие города, и с великим тщанием показывали им наши роскоши, наши богатства и все наши художества самые полезные, и самые достойные любопытства, но все сие никогда не возбуждало в них кроме неосмысленного удивления без наималейшего движения к пожеланию чего-либо. Я помню, между прочим, историю об одном начальнике некоторых американцев северных, которого привозили к Аглинскому Двору около тридцати лет тому назад. Ему предлагали превеликое множество вещей пред глаза его, дабы выбрать ему в подарок что ему наилучше могло бы понравиться, но ни к одной из всех не показал он ниже малого желания. Наши оружия казались ему тяжелы и беспокойны, башмаки жали ему ноги, платье его беспокоило, словом, он все отвергал; наконец приметили, что он, взяв одно шерстяное одеяло, будто почувствовал некоторое удовольствие, и окутал свои плеча. До крайней мере согласится ты, сказали ему тотчас, о полезности сей одежды? Да, отвечивал он, сие кажется мне почти столько ж удобно, как кожа какого-либо зверя, да и того бы он не сказал, если бы вынести сии вещи на дождь. // Может быть, скажут мне, что как привычка одна прицепляет каждого к обряду своей жизни, то сие и препятствует диким людям чувствовать, что есть изрядного в нашей жизни: но на сем основании долженствует то казаться, по крайней мере, весьма чрезвычайным, чтоб привычка имела больше силы удерживать диких во вкусе их сущего убожества, нежели европейцев в наслаждении их блаженства. Но чтобы учинить на сие последнее противомнение, ответ, на которой бы не возможно было уже ни слова сказать в возражение, то не приводя здесь всех молодых диких, которых суетно силились просветить, не говоря о Гренландцах и жителях Исландских, коих покушались ворошить и питать в Дании, и коих печаль и тоска всех погубила, или отчаянием, или морем, чрез которое покушались они переплыть вплавь до своей земли: я удовольствуюсь предложив здесь один пример верно засвидетельствованной, которой я предаю на рассмотрение прельщающимися учреждениями Европейскими. // Все труды законопроповедателей Голландских, на мысе Доброй Надежды, не в состоявши были обратить ни единого Готен-пота. Вандер Стел, Губернатор оногo мыса, взяв одного с самого детства, воспитал во всех основаниях закона Христианского, и в проследовании всем употреблением Европейским. Его одели бога-то, научили многим языкам, и успехи его соответствовали всем попечениям, какие прилагаемы были к его воспитанию. Губернатор, надеясь много на его разум, послал его в Индию с одним главным комиссаром, который употреблял его весьма полезно в дела компании. Он возвратился мыс после смерти того Комиссара, несколько дней спустя после возвращения своего, посещая некогда одного из своих сродников, принял намерение скинуть с себя все убранства Европейское, и облечься кожей овечью. Но он еще паче того сделал. В сем новом одеянии, взяв на себя чемодан, который наполнен был его прежнею одеждою, и представив оной Губернатору, сказал ему сии слова: извольте, Государь мой слушать, что я отрицаюсь навсегда от сих приборов. Я отрицаюсь притом и от Христианства, намерение мое есть жить и умереть по вере, обрядах, и употреблении предков моих. Единой милости я прошу, оставить мне галстук и кортик, которые я носил. Я их буду беречь, любя вас. И потом тотчас, не дождавшись ответа от Губернатора, укрылся он бегом, и никогда уже после того не видели его на мысу. История о путешествии, том 4, стран. 175.

нужен, и пространные леса переменились в веселые поля, которые надлежало орошать потом человеческим, и на которых вскоре увидели невольничество и бедность, зарождающееся и возрастающее купно с жатвою.

Металлургия и земледелие были те два художества, которых изобретение произвело сию великую перемену. Для стихотворца золото и серебро, но для философа железо и хлеб, привели людей к гражданской жизни, и погубили род человеческий. И так оба оные художества не были известны диким американцам, которые потому остались всегда таковыми, да и прочие народы кажется также оставались в варварстве, пока имели они одно из оных без другого: и сия может быть единая из лучших причин, для чего Европа, если не скорее, то, по крайней мере постоянно и лучше других частей света просвещалась, то есть: что она равномерно изобильнее оных в железе и плодороднее хлебом.

Весьма трудно догадаться, как люди дошли до того, что стали знать и употреблять железо: ибо невероятно, чтоб они вообразили сами собою доставать оное из рудников, и делать надлежащие приготовления для литья оногo, не зная наперед что из того произойдет. С другой стороны, меньше можно приписать сие открытие некоторому нечаянному возгоранию, потому что она я руда родится только в местах сухих, и немеющих ни древ, ниже какого былья, так что можно было бы сказать, что природа как нарочно принимала предосторожности, дабы сокрыть от нас сию несчастную тайну. И так остается одно только чрезвычайное обстоятельство какой-нибудь огнедышащей горы, которая выбрасывая слитые металлов руды, могла примечателям подать мысль, чтоб подражать сему естественному действию, но и притом надлежит в них полагать великую смелость и предусмотрительность, чтобы пожелали они предпринять такую тяжкую работу, и могли б представить себе из такой отдаленности те выгоды, которые они могли из того получить, а сие принадлежит уже таким разумам, кои были бы гораздо искуснее, нежели как сии долженствовали тогда быть.

Что принадлежит до земледелия, то основание его было известно гораздо за долго пред тем, нежели произведение в дело установилось; и почти невозможно, чтоб люди упражняющиеся непрестанно получать сведение свое от древ и разных былей, не возымели довольно скоро понятия о путях природою употребляемых к произведению растений; но досуг их по-видимому обратился весьма уже поздно к сей стороне, или для того, что как древесина, которые при охоте и рыбной ловле снабжали их довольною пищею, не имели нужды в их попечениях, или за незнанием как употреблять хлеб, или за неимением орудий для оранья земли, или за не предвидением надобностей будущих, или наконец за неимением средств к воспрепятствованию чтоб другие не присвоили себе трудов их: но учинившись после того искуснее, можно думать, что камнями резкими, и заостренными рожнами, начали они землю рыть и обсеивать каким-нибудь овощем, или кореньем около своих шалашей, гораздо за долго прежде нежели узнали как хлеб приготавливать, или иметь орудия потребные ко хлебопашеству великим числом, не упоминая того, что для употребления себя к такому упражнению и обсеиванию земли, должно было согласишься наперед несколько потерять, дабы потом приобрести более; предосторожность весьма далекая от состояния ума в диком человеке, который, как я уже сказал, с великим трудом может помышлять, поутру о надобностях своих к приближающемуся вечеру.

И так изобретение других художеств было надобно, дабы принудить человеческий род прилежать к земледелию. Как только нужны стали люди для сплавления иковки железа, то нужны также стали другие люди для прокормления оных. А чем более число мастеровых стало умножаться, тем менее стало рук для запаса общего пропитания, хотя не менее было зевов к пожиранию оногo; и как стали потребны одним съестные припасы на промен их железа, другие нашли тайну употреблять железо к размножению съестных припасов. От того завелось с одной стороны хлебопашество и земледелие, а с другой искусство как обрабатывать металлы, и умножать оных употребление.

От оранья земли последовало по необходимости разделение оной, а из собственности единожды признанной, первые правила правосудия: ибо, чтобы отдать каждому принадлежащее ему, должно было, чтобы каждый мог что-нибудь иметь свое. Сверх того, как

люди начали обращать вид свой к будущему времени, и видели у себя все некоторое стяжание, которого лишиться можно, то не было ни единого кто бы не боялся возмездия себе за обиду, которую бы он причинил ближнему. Сие происхождение тем паче естественно, что не возможно понять идеи о рождении собственности иначе, как от труда рук, ибо для присвоения вещей человеком несотворенных, не видно, чтобы такое он мог употребить, кроме своей заботы. Сей единый только труд, который давая право земледельцу над произращением земли им обрабатываемой, дает ему оное следственно и над тем местом, которое он обсеял, по крайней мере, до жатвы. И таким образом от году до году сие обладание продолжаясь, легко переменяется в собственность г когда древние, говорит Гроций, Церере приписали имя законодательницы, и праздник, торжествуемый в честь ее Фесмофориями, то они чрез сие давали знать, что раздел земли произвел новый род права, то есть, права собственности отличное от того, которое происходит от закона естественного.

Дела в таковом состоянии могли бы остаться равными, если бы таланты были равны, и чтобы, на пример, употребление железа, и поедание припасов, имели всегда верное равновесие, но размерность сего, будучи ни чем не подкрепляема, вскоре стала нарушена, сильнейшие стали больше работать проворные находили со своей стороны лучшие способы получать прибыль от своих трудов, разумнейшие изыскивали средства сокращать работу свою, земледелец имел больше надобности в железе, или коваль более в хлебе, и, работая равно, один вырабатывал много, между тем как другой с нуждою мог пропиваться. Сим-то образом неравенство естественное означаетя нечувствительно купно с неравенством сообразительным, и разности между людьми открывающиеся чрез разности обстоятельств становятся еще чувствительнее, долгопробывательнее в своих действиях, и начинают в таковом же размере иметь участие в жребии всех сограждан.

Когда дела достигли до такой степени, то легко можно вообразить прочее. Я не стану здесь описывать повременного изобретения всех прочих художеств, приращения языков, опытов и употребления талантов, неравенства в имении, благоупотребления и злоупотребления богатства, ни всех прочих подробностей последствующих оным, и которые всякой может дополнить, а удовольствуюсь только взглянуть на человеческий род, поставленной в сем новом порядке.

Вот все наши способности открыты, память и воображение в упражнении, самолюбие участвует, рассуждение возымело силу, и разум дошел почти до другого совершенства, какое он иметь может. Вот все качества естественные приведены в действо; чип и жребий каждого человека установлен не по единому количеству имении, и по могуществу услужить или повредить; но по разуму, по красоте, по силе, или искусству, по достоинствам или талантам. И как сии качества одни в состоянии привлечь уважение, то вскоре надобно стало их иметь или притворять: надобно стало для пользы своей показывать себя совсем иначе, нежели как кто был в самом деле. Быть и казаться стали две вещи совсем разные; а из сего различия произошли высокомерие привлекающее себя к почтению, обманчивое лукавство, и все пороки споследствующие оным. С другой стороны человек из вольного к независимого каким он прежде был. Вот уже в рассуждении множества новых надобностей стал подвержен, так сказать, всей природе, а особливо себе подобным и заделался в некотором образе их невольником, даже и тогда, когда бывает их властителем: богатому надобно их услуга, убогому потребна их помощь, посредственность без других обойтись не может, и так должно, чтобы он непрестанно искал чем склонить их в свою пользу, и чтоб они в самом деле или по видимому находили в том свой прибыльок, дабы о его прибытке трудиться: а сие делает его обманщиком и лукавцем с одними, наглым и жестоким с другими, и заставляет его облыгать всех тех, в ком имеет он надобность, ежели не возможно ему принудить их чтоб его боялись, или он не находит своих выгод служить им с пользою. Наконец, снедающее честолюбие, желание возвысить относительное счастье свое ее столько по истинной надобности, как для того, чтобы быть выше прочих, вперяет всем человекам ядовитую склонность вредить друг друга взаимно, ревность тайную тем паче бедственную, что для произведения намерений с большею безопасностью приемлет она часто маску

благодетельства. Одним словом, равное желание и соперничество с одной стороны, а сопротивление корысти с другой, и всегдашнее скрытое желание получить пользу свою на счет ближнего, все сии вредности суть первое действие собственности и вследствие неотлучное рождающегося неравенства.

Доколе еще не вымыслили знаков изобразительных богатства, то не могло оно в ином состоять, как только в земле и скоте, как единых стяжаниях вещественных, которыми люди обладать могут. Но когда наследства умножились числом и пространством до такой степени, что покрыли всю поверхность земли, и все стали между собою прикосновенны, тогда одни не могли иначе увеличиться как на счет других, оставшие ж сверх числа оных, которых или слабость их, или небрежение, не допустили приобрести из того что-нибудь со своей стороны, ставши убогими не потеряв ничего, потому, что все переменалось около их, а только единые они не переменались, принуждены были получать или похищать пропитание от богатых. А от того началось рождаться по расположению разных свойств одних с другими господство и рабство, или насилие и похищение. Богатые, с своей стороны едва лишь узнали то удовольствие, которое в господствовании есть, начали прочих презирать, и употребляя прежних рабов своим подвержению новых, не помышляли иного, чтоб только покорить и привести себе в подданство своих соседей, подобясь тем алчным волкам, которые отведая единожды человеческого мяса, отвергают всякую другую пищу и не хотят никого пожирать кроме людей.

Сим-то образом, когда самые могущие, или самые убогие, сделали себе первые из сил своих, а последние из нужд, на имения ближнего некоторый род права равновесного, по их мнениям, праву собственности и равенству нарушенному последовали наиужаснейшие беспорядки. Сим-то образом завладения богатых, грабежи убогих и необузданные страсти купно всех, затушая природную жалость и слабый еще глас правосудия, сделали людей любостязательными, честолюбивыми и злыми. Между правом сильнейшего, и правом того, кто первый чем-нибудь овладеет, рождались непрестанные споры, которые не иначе решились как сражениями и убийствами.¹⁸ Общество рождающееся уступило место ужаснейшему состоянию войны: и человеческий род, униженный и сокрушаемый, не имея уже возможности обратиться вспять на своя следы, ни отречься от приобретений несчастных, которые уже он имел, а трудясь только к стыду своему чрез злоупотребление своих способностей, которые ему честь приносят, привел сам себя, так сказать, на край гибели своей.

*Attonitus nouitate mali, divesque miferque,
Effugere optat opes; et quae modo uoverat, odit.*

Невозможно, чтоб люди наконец не имели рассуждений о состоянии толь горестном, и бедствиях, коими они уже были объаты. Особливо богатые вскоре должныствовали почувствовать, сколько была для них безвыгодна непрестанная война, которую они только одни производили на свой страх, и в которой опасность о жизни была всем общая, а потеря стяжаний особенное. Притом какую бы краску ни старались они давать завладениям своим, однако довольно ощущали, что оные основывались только на беспрочном и злоупотребительном праве, и что как оные приобретены только силою, то равно сила могла и

¹⁸ Можно мне в противоречие сказать, что в таком беспорядке люди, вместо взаимного и упорного убиения себя, рассыпались бы врознь, если бы не было границ их рассеянию. Но, во-первых, сии границы были бы, по крайней мере, пределы света, а если помыслить о безмерном умножении людей, происходящем от состояния естественного, то всякой рассудит, что земля в сем состоянии, не замедлив, покрыта была бы людьми, принужденными таковым образом быть вместе. Сверх того они рассыпались бы, если бы зло было быстротечно, и чтоб сие было переменою сделанною от одного дня до завтра, но они рождались под игом, имели уже привычку носить его, когда и чувствовали его тяжесть, и удовольствовались тем ожиданием, чтоб при случае свергнуть оное. Наконец, приобвыкши уже к тысячи выгодностей, которые принуждали их жить совокупно, рассеяние стало уже не столь легко, как в первые времена, где никто не имея надобности ни в ком кроме самого себя, каждый принимал намерение свое, не ожидая совету от другого.

у них отнять их, так что и жаловаться они в оном не могут, и те самые, которых только единое искусство обогатило, почти не могли основать свою собственность на лучших того правах. Как бы ни говорили они, я построил сию стену, я стяжал сию землю трудом моим, но кто дал тебе сии межи, могли бы им ответствовать? и почему требуешь ты платежа на наш счет за труд, которого мы на тебя не полагали? Разве не ведаешь ты, что премножество твоих братьев погибают или страждут, нуждаясь тем, в чем ты имеешь излишество, и что надлежало тебе иметь точное и единодушное согласие от всего человеческого рода, дабы мог ты из общего пропитания присвоить себе все то, что за твоим пропитанием осталось? Лишенный истинных доказательств ко оправданию, и довольных сил к защищению себя, легко сражая каждого в особенности, но сам сражаем кучею разбойников; будучи один против всех, и по причине взаимной зависти, не имея возможности соединишься с равными себе против соединенных врагов общею им надеждою ко грабительству богатый, необходимостью побуждаемый, произнес наконец вымысел самой мудрой, какой никогда еще не входил в человеческий разум, то есть, употребить в свою пользу силы тех самих, которые на него нападали, сделать себе защитителей из супротивников, внушить им другие правила, и дать им иные установления, которые бы для него были столько благоприятны, сколько естественное право было ему супротивно.

В сем намерении предоставив соседям своим ужасность того состояния, которое их всех вооружало друг против друга, которое делало им стяжания их столько же тягостными, как были самые их нужды, и при котором никто не находил своей безопасности ни в убожестве, ни в богатстве, вымыслил он свободно наружным видом обольщающие доводы для приведения их к желанной своей цели.

«Соединимся, – говорил он им, – дабы защищать слабых от утеснения, удержать высокомерных, и укрепить каждому владение ему принадлежащее: установим узаконения, правила суда и мира, которым бы все долженствовали сообразоваться, которые бы не имели лицепрятия ни к кому, и которые бы награждали некоторым образом за своенравие счастья, подвергая равно как сильного, так и слабого должностям взаимным. Одним словом, вместо того, что обращаем мы наши силы против себя самих, соединим все оные в единую высочайшую власть, которая бы нами правила по законам мудрым, покровительствовала и защищала всех членов сообщества, и отражала бы общих и врагов, а содержала нас в и, вечном согласии».

Гораздо менее, нежели равной сему речи, требовалось к привлечению мыслей в людях грубых, коих весьма легко было обольстить, и которые притом имели столько уже распрей и дел, что не могли далее обойтись без посредников, и столько любостязания и честолюбия, что чрез несколько времени необинуемо потребен был им властитель. Все стекались на встречу своим оковам, думая, что тем укрепляют вольность свою ибо, имея довольный разум чувствовать выгоды установления политического, не имели они довольно испытания, чтоб видеть оного опасности, самые способнейшие предощутить злоупотребление были точно те, которые считали сим самым воспользоваться; да и самые разумнейшие видели, что должно было согласиться на то, чтоб жертвовать частью своей вольности для сохранения другой, как раненый дает отрезать себе руку для сохранения оставшегося своего тела.

Такое было, или долженствовало быть, происхождение сообщества и законов, которые придали новые пути бессильным, и новые силы богатым,¹⁹ истребило бесповоротно вольность естественную, утвердило на веки закон собственности и неравенства, и из искусного похищения учинило право неперемное; а к пользе некоторых честолюбивых подвергли на предки весь род человеческий труду, рабству и бедности. Легко можно видеть,

¹⁹ Маршал д? В** рассказывал, что как в одной из учиненных им компании чрезмерное мошенничество подрядчика провиантского заставило армию претерпевать многий недостаток, и следовательно возроптать, то он бранил оного строго, и угрожал его поверишь. Сия угроза не касается до меня, отвечал ему смело тот подрядчик, и я весьма доволен тем, когда вам скажу, что не вешают такого человека, который имеет более ста тысяч червонных. Я не знаю как сие сделалось, примолвил откровенно помянутой Маршал, но в самом деле он не был повешен, хотя стократно был того достоин.

как установление единого общества учинило необходимыми и все прочие, и как для сопротивления соединенным силам надлежало также соединиться с другой стороны. Общества, умножающиеся или распространяемые быстро, покрыли непродолжительно всю поверхность земли, и не возможно уже стало найти и единый угол в свете, где нельзя было освободиться от ига, и уклонить главу свою от меча, часто худо управляемого, который каждый человек видел всегда вознесенным над своею головою. Когда право гражданское сим образом сделалось общим правилом всех сограждан; то закон естественный не имел уже места, как только между разных обществ, где под именем права народного, был он умерен некоторыми условиями невыражаемыми, дабы сделать взаимное сообщение возможным, и тем заменить естественное сожаление, теряющее от одного общества до другого всю силу, какую оно имело от одного человека до другого, не пребывает уже более, как только в великих душах некоторых космополитов, то есть, граждан целого света, кои преодолевают вымышленную оную преграду, народы разделяющую, и которые по примеру существа вседержительного, их создавшего и весь человеческий род объемлют своим благоволением.

Сообщества политические таковым образом оставшись между собою в состоянии естественном, скоро раскаялись о тех неудобствах, которые особенных людей принудили из оного выйти, а сие состояние стало паче пагубно между сими великими сообществами, нежели был прежде во особенностях между теми, из коих оные сообщества составлены. Отсюда произошли народные войны, сражения, убийства, мщенья, которые приводят в ужас природу и оскорбляют разум, и все те отвратительные предрассудки, которые в число добродетелей полагают честь, чтоб проливать человеческую кровь. Самые честные люди научились считать между своими должностями и то, чтоб резать себе подобных; увидели наконец людей убивающихся между собою тысячами, не зная за что, и в единый день сражения происходило более убийств, и более ужаса при взятии одного только города, нежели в естественном состоянии чрез целые веки во всех концах вселенные бывало. Такие суть первые усматриваемые действия от разделения человеческого рода в разные общества. Возвратимся теперь к их установлению.

Я ведаю, что многие приписывали иное начало сообществам политическим, как то, завоевания сильнейшего, или соединение слабых, но в рассуждении того, что я намерен утвердить, все равно какую ни избрать из сих причин; между тем предложенная мною кажется мне самую сходнейшею с природою, по следующим доказательствам: 1) что в первом случае, право завоевания, не будучи правом, не могло основать никакого другого права, поелику победители и побежденный народ остались всегда между собою в войне разве когда парод возврати полную вольность свою, избрал бы самопроизвольно победителя своего себе главою. А до того какие бы договоры ни сочинялись, как оные не могли основаны быть на ином чем, кроме насильства, и следственно ничто суть в самом веществе, то не могло быть в таком положении ни подлинного общества, ни собрания политического, ни иного какого закона, кроме закона сильнейшего; 2) что сии слова сильный и слабый, суть доказательно во втором случае, что в промежутке находящемся между установлением права собственности, или первого захватывающего, и правом правительств политических, смысл сих слов лучше изображается словами, богатый и убогий, понеже в самом деле человек не имел до законов другого средства подчинить себе своих равных, как нападая на их имение, или уделяя им нечто из своего; 3) что как убогие не имели ничего другого потерять кроме единой вольности своей, то была бы от них великая глупость отнимать у себя самовольно то единое достояние, которое им осталось, не получая ничего напромен; а напротив того, как богатые были, так сказать, чувствительны во всех частях своего имущества, то было бы гораздо легче сделать им зло; и следовательно они больше имели нужды принимать предосторожности к сохранению себя от того, и наконец с разумом сходно верить, что вещь какая-нибудь вымышлена скорее теми, кому она полезна, нежели теми, кому причиняет она обиду.

Правление, родившееся не имело постоянного и правильного вида. Недостаток в философии и в испытании не допускали примечать иного, как только настоящие неудобства; и так не помышляли о пособлении прочим, как по мере их наступления. Не взирая на все

труды самых мудрых законодателей, состояние политическое пребывало всегда несовершенно, понеже оно было почти случайное причинение, а как оно дурно начато было, то время, открывая недостатки и предлагая способы, не могло никогда уже заглазить пороки первого установления, и так беспрестанно делали, так сказать, починки, вместо чтобы надлежало прежде начать тем, чтоб очистить все место, и отдалить все прежние материалы. Как учинил Ликург в Спарте, дабы возвысить потом доброе здание. С начала общество состояло только в некоторых общих условиях, которые каждый особенно соблюдать обязывался, и в которых общество каждому было порукою. Надлежало чтобы опыт показал, сколько такое составление было слабо, и как легко было прислужникам избежать уличения, или наказания за преступления, которым одно только целое общество долженствовало быть свидетелем и судиею; то надлежало, чтоб закон был уничтожаем тысячью разными образами, чтоб неудобства и беспорядки усугублялись беспрестанно, дабы могли наконец помыслить о вверении участным людям опасный залог власти целого общества, и о препоручении судиям того попечения, чтоб наблюдали за советованиями народными: ибо, если сказать, что начальники были избраны прежде нежели союз был учинен, и что служители законов существовали прежде самых законов; то сие будет такое положение, которое возражать важным образом не позволено.

Несправедливее сего было бы рассуждать, якобы народы тотчас бросились в руки начальника во всем самовластного, без условия и бесповоротно, и якобы первое средство промыслить себе безопасность общую, которое вообразили люди гордые и неукротительные, было то, чтоб стремительно предаться в невольничество. В самом деле, для чего поставили они над собою начальников, как не для защищения себя от утеснений, и для покровительства своего имени, вольности и жизни, которые суть, так сказать, стихии составляющие их существо? Но, как в обстоятельствах от единого человека к другому, самое худшее из них, какое могло кому учиниться, есть видеть себя под властью у другого, то не было ли бы против здравого разума начать тем, чтобы обнажить себя и отдать в руки начальнику те самые вещи, для сохранения которых они имели нужду в его помощи? Что равное тому мог бы он им представить за уступку толь предуборочного права? И если бы он осмелился того потребовать под предлогом их защищения, то не получил ли бы тотчас ответа басенного, то есть что ж может нам хуже сего сотворить враг наш? И так, оное неоспоримо, и правило основательное всех прав политических есть то, что народы поставили над собою начальников для защищения вольности своей, а не для порабощения себя оным. «Когда мы имеем князя, – говорил Плиний Траяну, – то для того, дабы он нас предохранил, чтоб нам не иметь господина».

Политики делают о любви к вольности таковые же софизмы, какие философы делали о состоянии природном; по вещам, которые они видят, рассуждают они о вещах разнствующих, коих они не видели, и приписывают людям склонность естественную к порабощению, по той справедливости, с каковою сии, кои в их главах находятся, сносят их господство сами над собою, не помышляя, что вольность, так точно, как невинность и добродетель, тогда только разумеют, пока ею пользую ней, и вкус их теряет так скоро, как только их кто лишится. Я знаю прохлады твоей земли, говорил Брасидас и одному Сатрапу, который сравнивал жизнь Спарты с Персеполем, но ты не можешь знать приятностей моей земли.

Как конь неукротимый вздымает гриву, бьет ногами в землю, и мечется стремительно когда только поднесут к нему удила, а приученная лошадь с терпением сносит хлыст и шпоры: так человек дикий не уклоняет главы своей под иго, которое гражданин сносит без роптания. Он предпочитает самую бурную вольность спокойному покорению. И так, не по унижению народ, подверженного власти, должно судить о расположении естественном человеческом, в пользу или в противность рабства; по тем чудесам, которые делали все вольные пароды для защищения себя от притеснений. Я ведаю, что первые из сих непрестанно превозносят только мир и тишину, коею они наслаждаются в своих оковах, и что они *miferimam feruitutem rasem appellant*: но когда я вижу других жертвующих утехами своими, покоем, богатством, могуществом, и самую жизнь, сохранению сего единого блага,

столь пренебрегаемого от тех, которые его потеряли; когда я вижу животных рожденных вольными, и ненавидящих неволи, как они разбивают головы свои устремляясь против оград своего заключения, когда я вижу множество диких нагих, презирающих сластолюбие европейское, и отваживающихся на голод, на огонь, на железо и на смерть у для сохранения только своей независимости: то я чувствую, что не рабам принадлежит рассуждать о вольности.

Что принадлежит до власти родительской, из которой многие выводят правительство самовластное и всякое общество; не прибегая ко опытам сему противным, Локка и Сидния, довольно приметить, что ничего в свете нет столь отдаленного от свирепого оною свойства деспотизма, как кротость сей власти, которая смотрит больше на выгоды повинующегося, нежели на пользу того, который повелевает: что по закону естественному отец не долее есть властитель над чадами, как сколько его помощь им потребна; а по прошествии того времени становятся они равны, и тогда уже сын совершенно не зависит от отца, и должен ему только почтением, а не повиновением ибо признание или благодарность, есть подлинно должность, которую исполнять надлежит, но не право, которого бы можно было требовать. Вместо того чтоб сказать, что общество гражданское выводится от власти родительской, надлежало бы сказать сему противное, то есть, что та от него приемлет свою силу; один человек особенно не мог быть признаком отцом многих иначе, как когда они оставались всегда вместе возле него; именование родительское, нал которым он точно властен, суть те узы, кои удерживают детей его от него в зависимости, и он может распределять на части свое наследство по мере того, сколько они будут достойны оною за всегдешнее к нему почтение и послушание его воли. Но весьма далеко от того, чтоб подданные имели ожидать каких-либо милостей, сему подобных от деспота своего; ибо, как они принадлежат ему сами собою и все, что они имеют, или, по крайней мере, так он утверждает; то они доведены до того чтоб принимать, яко милость то самое, что оставляет он и подданным во власть из их собственного стяжания, он делает правосудие когда их грабит, и творит милосердие когда оставляет им жизнь.

Продолжая испытывать таким образом действия чрез право, не найдется более твердости как и истинны в самовольном установлении тиранства, и трудно будет показать действительность такого договора, которой обязывал бы только одну из двух сторон, в котором бы положено было все на одну сторону, а ничего на другую, и который обратился бы в предосуждение одного только обязавшегося. Сия ненавистная система весьма отдалена и ныне от премудрых и милостивых Монархов, наипаче от Королей Французских,²⁰ как то можно видеть в разных местах указов их, а особливо в следующем месте оною славного сочинения, обнаруженного в 1667 году по повелению Людовика XIV.

И так, пускай не говорят, будто Государь не подвержен законам своего государства, понеже предложение противное сему есть истина из права народного, на которую лест некогда нападала, но которую добрые Государи всегда защищали, как Божество хранящее их государства. Сколь справедливее можно сказать с мудрым Платоном, что совершенное Благоденствие государства состоит в том, чтоб Государю повиновались его подданные, Государь повиновался бы законам, а закон был бы прав, я всегда к благосостоянию общества

20 Г. Руссо в сем случае не без пристрастия прославляет столько Людовика XIV, ибо сей Государь некогда потерял было государство свое. А долг истинный обязывает меня по самой справедливости упомянуть здесь о благополучном состоянии России, чрез попечение нашей ныне царствующей премудрой Государыни Великие по самому исполнению ее дел, на которые целый свет взирает с удивлением. О благополучном состоянии России говорю я для того, что она возведена на высшую степень благоденствия; ибо очищается ото всех наглостей, насильств и притеснений, каковые обыкновенно бывают не только в самовластительных, но и в прочих правлениях. Ее высокий и премудрый дух не к установлению самовластительства стремится, но к пользе, покою и тишине подданных своих. Сия Великая Монархиня, достойна владеть сердцами благодарного своего народа, не словами едиными привлекает к благосостоянию народ свой; но употреблением трудов собственно своих, и бесконечных попечений, которых плоды нам вседневно открываются чрез цветущее состояние, в каком, как внутренние, так и внешние дела ее государства, видать Европа с завистным оком. Если бы восстал и сам Платон от мертвых и увидел бы все полезные учреждения ее, то почтил бы он премудрость Великой ЕКАТЕРИНЫ II, которая кротостью пленяет сердца подданных, мудростью удивляет свет, и делами славит Российский род.

направляем? Я не остановлюсь здесь для изыскания того, что как вольность есть самая благороднейшая способность человеческая, то не унижают ли свою природу, не вступают ли в равенство со скотами невольниками побуждения им сродного, не обидят ли и самого Творца своего бытия те, которые отрекаются ничего себе не выговаривая, от самого драгоценнейшего из всех его даров, подвергаются чинить всякие беззакония, которые он нам запрещает, дабы тем только угодить властителю зверонравному или безрассудному, и сей Вышний Создатель должен ли быть паче раздражен видя истребляемую, как обесчещенную самую прекраснейшую из всех тварей. Я вопрошу только, по какому праву те, кои не страшались уничтожить сами себя до сего степени, могли подвергнуть потомство свое равному себе бесчестию, и отречься за него от таких благ, которые оно не от их щедрот имеет, и без которых саман жизнь тягостна всем тем, кои ее достойны суть?

Пуфендорф говорит, якобы как имение переходит к другому по условиям и договорам, так равно можно сложить с себя и вольность свою в пользу кого-нибудь. Сие то, кажется мне, самое дурное рассуждение? ибо, во-первых имение, которое я от себя отрешаю, становится мне совсем чуждою вещью, которой злоупотребление меня не трогает; но то нужно мне, чтоб не злоупотребляли мою вольность; и я не могу, не сделав себя виновником зла, которое меня принудят сотворить, отважить себя сделаться орудием беззакония: сверх того, как права собственности происходят только от согласия и установления человеческого, то всякой человек может по своей воле расположить тем, чем он обладает; но иначе рассуждать должно о дарованиях существенных природы, как то есть жизнь и вольность, коими позволено каждому наслаждаться, и о которых, по крайней мере, сомнительно, чтобы кто имел право отчуждать от себя оные; отъемля у себя первое из сих, уничтожаешь свое бытие, отъемля другое, уничтожишь его столько, сколько оно от тебя зависит. И так никакое временное благо не может воздать ни за то, ни за другое, то стало уже тем обидеть вдруг и разум и природу, если отречься от них за какую бы то цену ни было. Но когда бы можно было отчуждать вольность свою так, как имение, то разность была бы крайне велика для детей, которые имением отца своего пользуются только по преданию его права, вместо что как вольность есть дар, которой они от природы как люди получили: то родители их не имели никакого права лишить их оной, так что если для установления невольничества надлежало причинить насилие природе, то надлежало ее переменить, дабы непрерывным было сие право, и юрисконсульты, которые с важностью изрекли, что младенец, раздающийся от невольницы, сам невольнике, изрекли то с других слов, что человек рождается не человеком.

Таким образом кажется мне весьма то подлинно, что не только правления не начались властью самопроизвольною, которая есть ни что иное, как только повреждение оных, крайнейший предел, и которая их приводит наконец к единому закону сильнейшего, против коего оные были с начала защитой, но еще когда бы и таковым образом они начались, то сия власть будучи по своей естественности не законная, не могла служить основанием правам общества, и, следовательно, и не равенству установленному.

Не входя ныне в изыскания, какие нам еще осталось учинить о естественности договора основательного во всяком правительстве; я ограничиваю себя, следуя общему мнению, тем, что приемлю здесь установление общества политического, как подлинный договор между народом и начальниками им избранными; договор, по которому обе стороны обязываются к сохранению законов по общему условию учрежденных, и составляющих узы их соединения. Как народ, в рассуждении обстоятельств, общества, соединил все свои изволения в единое, то все статьи, о которых сие изволение изъяснится, становятся законами основательными, обязывающими всех членов государства без изъятия, из которых законов один учреждает выбор и власть судей, коим поручено иметь наблюдательство и исполнения прочих законов. Сия власть простирается до всего, что может поддерживать установление общества, не доходя только до применения его. А к тому приобщены почести, приводящие в почтение как закон, так и служителей закона, которым особенно присвоятся еще преимущества, награждающие их за те тяжкие труды, каковых доброе установление стоит. Начальники со своей стороны обязываются не иначе употреблять власть ему вверенную, как

по намерению поручающих содержать каждого в спокойном обладании ему принадлежащего, и предпочитать во всяком случае пользу общества собственной своей корысти.

Доколе еще опыт не показал, или познание человеческого сердца не дало предвидеть неизбежные злоупотребления такого установления, то долженствовало оно казаться тем лучшим, что те сами, коим препоручалось наблюдение о сохранении оно, более всех имели в том корысти; ибо как правительство и права его, будучи устроены единственно на основательных законах, то сколь скоро бы оно рушилось, толь скоро и правители престаи бы быть законными. Народ не был бы уже обязан им повиноваться, а когда уже не правители, но закон стал бы составлять существо государственное, то каждый бы по праву возвратился в свою природную вольность.

Когда хотя мало кто с прилежностью рассудит, то сие утвердится еще новыми доказательствами, и по самой естественности договора усмотреть можно, что он не мог бы быть бесприменен, ибо, если бы не было власти высочайшей, которая бы могла быть порукою за верность договаривающихся, и принудить их к исполнению взаимного их обязательства, то договаривающиеся стороны остались бы одни сами судьями в своем собственном деле, и каждая из них имела бы всегда право отказаться от договора, как скоро лишь усмотрела бы, что другая нарушает условия, или как только бы оные условия престаи быть ей сходственными. На сем то основании, кажется мне, состоит право сложения власти, ибо, рассуждая так, как мы рассуждаем об установлении человеческого, если правитель, который имеет всю власть в руках своих, и который присвоит себе все выгоды договора, имел однако же право отречься от власти ему врученной, то тем паче народ, который платит за все погрешности начальников, долженствовал бы иметь право отречься от зависимости. Но преужасные распри, беспорядки неисчислимые, кои неминуемо привлекла сия бедственная власть, показывают паче нежели все другое, сколько правления человеческие имели нужду во основании гораздо непоколебимейшем, нежели как один только разум, и сколько нужно было то для спокойствия общего, дабы Божеское последовало благоволение, чтоб даровать самодержавной власти мудрость священную и нерушимую, которая бы подданных лишила пагубного оно права, чтоб паковой властью располагать по своей воле. Если бы вера ничего кроме сего блага людям не причинила, то было бы уже и сего довольно, чтоб поставить за долг любить и исповедовать оную и при самых ее злоупотреблениях, понеже она избавляет более от пролития крови, нежели сколько суеверие оной проливает, но мы будем следовать предводительству нашего положения.

Разные образы правительств начало свое производят из большей или меньшей разности бывшими между частных людей, во время установления оных. Ежели человеку был превосходен в могуществе, в добродетели, в богатстве, или в поверенности, то он был избран судиею, и общество сделалось Монаршеское, ежели несколько почти равных между собою превосходили всех прочих, то они были избраны все купно и стала Аристократия или правление знатнейших особ тех, которых достаток или таланты были не столь равномерны, и которые меньше отделились от состояния естественного, оставили себе обще высочайшее управление, и составили демократию или народное правление. Время доказало которое из сих образов правление самое выгодное человекам. Одни остались единственно подвержены законам, другие вскоре стали повиноваться господам. Граждане восхотели сохранять вольность свою, а подданные не помышляли другого, как только чтоб лишить оной своих соседей, не хотя сносить того, чтобы другие наслаждались таким благом, которым они сами не пользовались. Одним словом, с одной стороны стало богатство и победы, с другой благополучие и добродетель.

В сих разных правлениях все начальства были сперва избирательные; и если богатство не превосходило, то было предпочтение отдаваемо достоинству, которое дает естественную поверхность, и летам, кои приносят испытание во всех делах, и хладную кровь в советованиях. Старейшины Еврейские, Геронты в Спарте, Сенат в Риме, и самая Этимология Французского слова *Seigneur*, показывает сколько прежде сего была старость почитаема. Чем более избрания упали на людей старости достигнувших, тем более были оные учащены, и

тем более замешательство от них становилось видимо; ввелись происки, зачались разные стороны, которые между собою злобствовали, войны междоусобные возгорелись наконец кровь сограждан была жертвуема мнимому благополучию общества, и уже весьма близко доходили до того, чтобы впасть опять в безначальственное состояние прежде бывших времен. Властолюбие главнейших воспользовалось сими обстоятельствами к тому, чтоб непрерывно продолжать свой чин в домах своих, народ привыкший уже к зависимости, к покою, и к выгодам такой жизни, и будучи уже не в состоянии расторгнуть свои узы, согласился допустить порабощению умножиться для утверждения своего спокойствия; и таким-то образом начальники учинясь наследственными, привыкли почитать начальство как достояние принадлежащее к их дому, а себя почитать же владельцами общества, которого сперва были они только служителями, называть сограждан своих невольниками своими и щипать их как скотину и в числе вещей им принадлежащих, а себя самих нарицать равными богам и Царями Царей.

Следуя за приращениями неравенства в сих разных переменах, найдем мы, что установление закона и права о собственности, был первый его предел, учреждение начальства второй, третий и последний предел было применение власти законной на власть самовольную, таким образом, что состояние богатого и убогого было основано первою эпохою, состоянием могущего и бессильного второю, с третьею состоянием господина и раба, которая степень есть самая последняя в неравенстве, и такой предел, к которому, наконец, доходят все прочие состояния, доколе новые перемены не разрушат совсем правления, или не приблизят оное к законному установлению.

Чтоб уразуметь необходимость сего приращения, то должно не столько смотреть на причины установления сообщества политического, как на образ, какой оно приемлет в произведении оного установления в действо, также на неудобства, какие оно влечет за собою, ибо пороки делающие нужным установление общества, сами ж делают и злоупотребление оного неизбежным; и как исключая только единую Спарту, где закон особливейше наблюдал воспитание детей, и где Ликург установил такие нравы, кои почти освобождали его от приобщения к тому законов. Законы вообще, не столь будучи сильны как страсти, воздерживают людей не применяя их, то легко было бы доказать, что всякое правление, которое бы без повреждения и колебания шло всегда исправно по предмету своего установления, было бы установлено без нужды, и что страна, в которой бы никто не преступал законов и не злоупотреблял своего начальства, не имела бы надобности ни в начальниках, ни в законах.

Отличности политические по необходимости ведут за собою отличности гражданские. Неравенство, возрастающее между народом и их повелителями, скоро становится чувственно между участвующими людьми, и оказывается между ними в тысячи разных видов, смотря по разным страстям, талантам и случаям. Начальник не может похитить власть незаконную, не приведши к себе в преданность некоторых людей, коим он принужден из оной уделить сам некоторую часть. А притом сограждане не иначе допустят себя подвергнуть, как когда уже влекомы от слепого честолюбия, и более взирающим ниже себя нежели выше, господствование делается им любезнее нежели зависимость, и они согласятся носить узы для того, чтоб могли их налагать на других со своей стороны. Весьма трудно привести к повиновению такого, который не ищет сам повелевать, и самый искуснейший политик не дойдет до того совершенно, чтоб покорить таких людей, кои не желают ничего иного, как только чтоб быть вольными: но неравенство распространяется без труда в душах честолюбивых и подло мыслящих, всегда готовых подвергаться опасностям счастья, и господствовать или служить, как счастье им благоприятно будет или противно. Таковым-то образом должно было прийти то время, в которое очи народа обворожены стали до такой степени, что их предводители только лишь изрекут самому последнему из всех людей, будь ты велик, и весь род твой, то тотчас великим представится он в очах всего света, так как и собственно в своих; а отродье его возвышается еще по мере, сколько оно становится отдаленнейшим: и чем более причина сама отдалена и неизвестна, тем более действие ее

умножается, и чем более можно счесть ленивцев в какой породе, тем паче она знатна и славна.

Если бы здесь было удобно мне войти в подробности, то я бы легко истолковал каким образом неравенство в доверенности и предпочтении становится необходимым между частными людьми,²¹ как скоро они, соединяясь в единое общество, принуждены бывают сравнивать себя друг с другом, и иметь счет разностей, которые они находят во всегдашнем употреблении, и какое они один из другого делать должны. Сии разности суть многих родов, но как вообще богатство, благородство или чин, могущество и достоинство личное суть главнейшие отличности, по которым меряются в обществе, то я доказал бы, что согласие, или разгласие сих разных сил есть знак самый нужный правительств, хорошо или худо установленного: я показал бы, что между сими четырьмя видами неравенства личные качества суть основанием всем прочим, а богатство есть последнее, к которому все они обращаются, наконец, для того, что как оно наинепосредственнейше полезно к благосостоянию, и самое легчайшее есть к сообщению другим, то его свободно употреблять можно на покупку всего прочего. Сие примечание может подать способ к рассуждению с довольною точностью о мере того как всякий народ удалялся от своего первобытного состояния, и от пути, которым он шествовал к крайнему пределу повреждения. Я заметил бы сколько сие всеобщее желание славы, почестей и предпочтений всех нас терзающее упражняет и сравнивает таланты и силы, сколько оно возбуждает и усугубляет страсти, и сколько оно делает всех людей единожелателями, соперниками, или лучше сказать врагами, и причиняет каждый день оборотов, удач и нечаянных происшествий всякого рода, заставляя столь многих сотребователей теши единое и то же самое поприще: я показал бы, что сему то рвению, дабы заставишь о себе говорить, сему неистовству, чтоб себя отличить, которое нас почти всегда вне нас самих содержит, должны мы почти всем, что есть лучшего и самого худшего в людях; нашими добродетелями и пороками, нашими знаниями и заблуждениями, нашими победителями и философами, то есть, множеством дурных вещей за малое число хороших. Я доказал бы наконец, что если мы видим единую горсть сильных и богатых на высоте великостей и счастья, между тем как прочая толпа пресмыкаются в презрении и бедности, то сие происходит не от иного чего, как только что первые почитают те вещи, которыми они наслаждаются только поколику прочие их лишены, и что не переменяя состояния, они престали б быть благополучными, если бы народ престал быть беден.

Но сии подробности и одни составили бы нарочитое сочинение, в котором можно б сравнить выгоды и неудобства всякого правления относительно к правам состояния

21 Самое правосудие раздаятельное воспротивилось бы сему строгому равенству состояния природного, если бы могло исполняемо быть в обществе гражданском. И как все члены государства должны ему услугами по мере их сил и дарований, то граждане со своей стороны должны быть отличаемы и благоприятствуемы по мере их заслуг. В таком-то смысле должно разуметь одно место в Исократе, в котором он выхваляет первых Афинян за то, что знали они различать, которое было выгоднее из двух равенств, из коих первое состоит в том, чтоб давать выгоды всем согражданам вообще и другое, чтоб раздавать их по достатку каждого. Сии мудрые политики, прилагает оной Оратор, изгнав сие несправедное неравенство, которое не полагает никакой разности между злых и благонравных людей, прилеплялись непременно к тому, которое награждает и наказывает каждого по достоинству. Но, во-первых, никогда не бывало такого общества, до какого бы степени повреждения ни дошло оное, чтоб в нем не делали никакого различия между злых и добрых людей; в том, что принадлежит до нравов, поелику в оном закон не может положить меры довольно точной, которая бы могла быть правилами для градоначальников; то сие весьма благоразумно, что дабы не оставить жребия, или чин сограждан в воле судей, запрещает оной им судить лица, а оставляет только расправу в делах. Одни столь непорочные нравы, каковы были древних Римлян, могут сносить Цензоров, и таковые суды у нас скоро бы все опровергли. Общенародному мнению принадлежит поставлять различие между злыми и благонравными людьми; правительство есть суд, который принадлежит только до самого точного права, но народ есть истинный судья нравов, судья нелицемерный и притом просвещенный в рассуждении сего, которого можно иногда обольстить, но никогда совсем превратить не можно. И так чины сограждан должны быть учреждаемы не по достоинствам личным; ибо то было б подать градоначальству способ к учинению почти самопроизвольного приложения законов, или сличения оных с делами, но только по действительным услугам, которые они государству оказывают, и которые точнее оценены быть могут.

природного, и открыть все разные виды, под коими неравенство оказывалось до сего дня и может казаться во всех веках по естеству сих правлений и по приметам, какие время в них произведет необходимо. Тут увидели бы множество утесненное внутри чрез следствие самых тех предосторожностей, которые оно приняло против бед угрожающих извне увидели бы притеснение возрастающее непрестанно, как между тем утесняемые никогда не могут знать какой предел оно иметь может ни того, какие средства законные остаются им к прекращению оно, увидели бы права граждан и вольности целых стран затмевающимися по малу, а воззвание слабых вменяемое за роптание возмутительное, увидели бы политику, ограничивающую в некоторой наемной части народа, честь защищать общее дело; увидели бы проходящую из сего надобность податей, земледельца лишенного ободрения, оставляющего поля свои среди продолжение самой тишины, и оставляющего соху свою для препоясания меча: увидели бы рождающиеся пагубные и неместные правила защищения чести, увидели бы защитников отечества рано или поздно врагами оно, держащими непрестанно поднятый кинжал на своих сограждан.

Из крайнего неравенства в знатности и достатке, из различности страстей и талантов, из художеств бесполезных и художеств вредных, из наук суетных, вышли бы бездны предрассуждений равно противных разуму, благополучию и добродетели, увидели бы как главы народа разжигают все то, что может привести в ослабление людей собравшихся разделяя их, все, что может дать обществу вид наружного согласия, а посеять семена разделения вещественного все, что может внушить разным чинам недоверенность и ненависть взаимную по сопротивлениям их прав и их корыстей, и следственно укрепить ту силу, которая их всех содержит.

Из недр сего-то беспорядка, и его перемен, возвышая по степеням мерзкую глазу деспотизм, и пожирая все, что он ни приметит благого и здорового во всех частях государства, достиг бы, наконец, до того, чтоб попрал ногами законы и народ, и утвердился бы на развалинах республики. Времена предыдущие сей последней перемене были бы времена смутные и бедственные: но наконец все стало бы поглощено чудовищем, и народы не имели уже ни начальников, ни законом, а только единых тиранов. От сего часа также престало бы воспоминаться о нравах и добродетели; ибо повсюду, где владычествует деспотизм, *cuī ex bonofito nulla est fides*, не терпит он никакого другого властителя, как скоро только возглаголет он: то не можно уже ни с честностью, ни с должностью советовать, и самое слепое повиновение остается единою добродетелью невольникам.

Здесь то последний предел неравенства, и та крайняя точка, которая сей круг смыкает и касается той точки ж, от которой мы шествие начали. Здесь то все честные люди становятся опять равными для того, что они суть ничто, и как подданные не имеют уже другого закона кроме изволения своего господина, ни господин их другого правила кроме своих страстей, то понятие о благе и начала правосудия опять исчезают. Здесь то все приходит под единый закон сильнейшего, и следственно в новое состояние природы, разнствующее от того, которым мы начали, в том, что оно было состояние природы в самом чистом своем существе, а сие последнее есть плод безмерного повреждения. Впрочем различность между сих двух состояний столь мала, и договор правительства столько разрушается деспотизмом, что деспота сам до тех только пор господствует, доколе он всех сильнее, а как скоро его изгнать можно, то нельзя уже ему возопить против насильства. Возмущение, кончающееся удушением или свержением Султана с престола, есть действие столько же судом произведенное, как те, в которых он на кануне того делал определения жизни и имения подданных своих. Сила единая его удерживала, сила единая и опровергает; таким образом все происходит по порядку природы, и какие бы ни были происшествия сих кратких и частых перемен, никто не может жаловаться на несправедливость другого, но только на свою неосторожность, или на свое несчастье.

Открывая и следуя таковым образом по путям забвенным и потерянными, которые из состояния естественного должныствовали привести человека до состояния гражданского,

восстанавливая при положениях промежуточных, которые я означил, те, кои время принуждающее меня спешить, заставило меня скрыть, или которых воображение мне не представило, всякой прилежной читатель не может не быть поражен неизмеримым пространством разделяющим сии два состояния. Но в сем-то медленном последствии вещей увидит он решение премножества проблем нравоучительных и политических, которых философы решить не могут. Он восчувствует, что как человеческий род одного века, не тот род человеческий, что был в другом веке: причина, для чего Диоген не нашел человека, состоит в том, что искал он между своих современников человека такого времени, которого уже не было. Катон, скажет он, погиб вместе с Римом и вольностью для того, что был не кстати в своем веке, и величайший из людей удивил только свет, которым за пятьсот лет прежде того он управлял бы. Одним словом, он растолкует, как душа и страсти человеческие колеблясь, нечувствительно переменяются, так сказать в естестве своем; для чего наши потребности, и наши увеселения переменяют предметы чрез продолжительное время; для чего при исчезании первобытного человека, по степеням, общество представляет пред глазами мудрого только сборище людей художественных, и страстей поддельных, которые произошли от всех сих новых обстоятельств и не имеют никакого истинного основания з естественности. Чему рассуждение нас научает, о сем то самое примечание подтверждаешь совершенно: человек дикий, и человек просвещенный, разнствуют столько в основании сердец своих и склонностей, что причиняющее единому верховное благополучие, привело бы другого в отчаяние. Первый дышит только для покоя и вольности, он единственно желает жить и праздным быть, и неподвижность самого Стоика не может сравниться с его глубокою беспечною о всяком ином предмете. Напротив того гражданин всегда в делах будучи, заботится до поту лица, суетится, мучится непрестанно для соискания себе упражнений еще того труднейших: он работает далее до смерти, и отважится иногда на самую смерть, дабы привести себя в состояние чем прожить, или отрицается от жизни, для приобретения себе бессмертия. Он поклоняется большим людям, которых ненавидит, и богатым, которых презирает, не щадит ничего для приобретения чести только той, чтоб им служить; хвастается гордо своею подлостью и их покровительством и быв надмен своим рабством, говорит с уничтожением о тех, которые не имеют чести оное с ним разделять. Какое это позорище для Караиба, тяжкие труды и завидуемые Министра Европейского!

Сколько мучительных смертей не предпочел бы сей неосмысленный дикий человек таковой ужасной чести и жизни, в которой часто не услаждаются и тем утешением, чтоб делать благодеяние? Но дабы увидеть и толикие попечения, надлежало б, чтоб сии слова, власть и слава имели свой смысл в его разуме, и чтоб узнал он, что есть род людей, которые считают за что-нибудь взоры прочих людей в свете, которые умеют быть благополучными и довольными сами собою, по свидетельству других, паче нежели по своему собственному. Такова есть в самой вещи подлинная причина всех различностей, дикий живет сам в себе, а человек общественный всегда вне себя, и не знает жить иначе, как во имени других, и так сказать из их только рассуждения производит оп чувствование своего собственного бытия. Не следует к содержанию моего рассуждения показать, каким образом из такового расположения рождается столько нечувствительности к добру и злу, при столь изрядных разговорах о нравоучении; каким образом, когда все приводится к внешнему виду, все становится неестественно и игралишно. Честь, дружба, добродетель, и часто самые пороки, которыми нашли наконец таинство уже славиться, каким образом мы, одним словом сказать, спрашивая всегда у других о том, что мы такое есть, и не смея никогда спросить о том себя самих, посреди толикой философии, толикого человеколюбия, учтивства и высоких правил, имеем только наружность обманчивую и тщетную, честь без добродетели, разум без целомудрия и увеселения, без благополучия. Для меня довольно было доказать, что не такое начальное состояние человеческое, и что один только разум общества, и неравенство, какое он зарождает, переменяет и колеблет таковым образом все наши природные склонности.

Я старался предложить начало и приращения неравенства, установление и злоупотребление обществ политических, поколику сии вещи могут произведены быть из

природы человеческой по единому просвещению разума, и независимо от учений священных, которые власти верховной придают святость права божественного. Из сего предложения следует, что неравенство, будучи почти никаким в состоянии природном производить свою силу, и приращение из открытия наших способностей, и из успехов человеческого разума, и наконец, становится твердым и законным чрез установление собственности и законов. Следует также еще, что неравенство нравственное, уполномоченное единым положительным правом противно бывает праву естественному, каждый раз, когда оно не в единый размер с неравенством физическим стекается. Сие различие довольно решит, что должно мыслить в сем случае о том роде неравенства, который владычеству между всеми народами просвещенными; понеже то явно против закона естественного есть, каким бы образом его ни определить, чтоб юноша повелевал престарелым мужем, чтоб полоумной предводительствовал человека разумного, и чтоб горсть людей по горло имела все оплошности, между тем как множество помирающих от глада не имеют и самонужнейшего.

Конец



<p>All rights reserved. This book or any portion thereof may not be reproduced or used in any manner whatsoever without the express written permission of the publisher except for the use of brief quotations in a book review.</p>	<p>Все права защищены. Эта книга или любая ее часть не может быть воспроизведена или использована любым другим способом без письменного разрешения издателя исключая использование цитат из книг или иного способа предусмотренного законодательством.</p>
<p>«Strelbytskyy Multimedia Publishing»</p>	<p>«Мультимедийное издательство Стрельбицкого»</p>
<p>Saksaganskogo str., 58, office 8 Kiev, Ukraine, 01033</p>	<p>ул. Саксаганского, 58, оф.8 Киев, Украина, 01033</p>
<p>tel. +38044 331-06-20 e-mail: dmytro.strelb@gmail.com</p>	<p>тел. +38044 331-06-20 e-mail: dmytro.strelb@gmail.com</p>

**Электронная книга издана
«Мультимедийным издательством Стрельбицкого»**

С нашими изданиями электронных книг и аудиокниг вы можете познакомиться на сайтах:
www.strelbooks.com **www.audio-book.com.ua**

Желаем приятного чтения!
Свои замечания и предложения направляйте на e-mail: dmytro.strelb@gmail.com

**Эта книга охраняется авторским правом
Copyright © 2015
«Мультимедийное издательство Стрельбицкого»**